

# Василий Аксенов

предисловия  
послесловия  
интервью

Ква-  
каем,  
Ква-  
каем

HOUSTON PUBLIC LIBRARY



R01174 85143



КВа-  
каем,  
КВа-  
каем...

# ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

предисловия  
послесловия  
интервью

КВа-  
каем,  
КВа-  
каем...

АСТ  
Зебра Е  
Москва

УДК 821.161.1(092)Аксёнов В.П.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Аксёнов В.П.  
А42

Оформление художника Андрея Рыбакова

В оформление книги использованы фотографии  
из личных архивов Виктора Есипова и Владимира Мощенко,  
а также Алексея Аксенова и Александра Кривомазова

Подписано в печать 14.11.07. Формат 84х108 1/32.  
Усл. печ. л. 15,12. Тираж 7000 экз. Заказ № 25596.

**Аксенов, Василий Павлович**

А42 «Квакаем, квакаем...» : предисловия, послесловия,  
интервью / Василий Аксенов. — М.: АСТ: Зебра Е,  
2008. — 288 с., 32 с. вкл.

ISBN 978-5-17-049372-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-94663-551-6 (ООО Издательство «Зебра Е»)

Агентство СІР РГБ

© Аксенов В., 2007  
© Издательство «Зебра Е», 2007  
© Издательство «АСТ», 2007



# Содержание

Несколько слов о Василии Аксенове . . . . .	7
«Звездный билет» Василия Аксенова . . . . .	13
Монолог одинокого бегуна на длинные дистанции . .	24
Рожденный в джазе . . . . .	31
Приветствие журналу «Октябрь» . . . . .	37
Васильевская проза. Светлановский сюжет . . . . .	41
Над разоренным гнездом кукушки . . . . .	45
Композитор Попов . . . . .	56
Одна библейская история . . . . .	65
Кто был этот мальчик . . . . .	77
Наш ответ Франсуазе Саган . . . . .	82
Моряк империи . . . . .	85
Трали-вали и гений . . . . .	114

По слуху и нюху . . . . .	115
Автопортрет . . . . .	120
Джазовая пьеса . . . . .	125
Плачу и рыдаю . . . . .	129
Светлый путь . . . . .	135
Вестерны и истерны . . . . .	140
Сдвиг речи . . . . .	145
Господи, прими Булата . . . . .	151
На смерть Романа Солнцева . . . . .	157
Классик и плейбой . . . . .	159
Три интервью с главным редактором журнала «Октябрь» Ириной Барметовой . . . . .	177
1. Облискурация Аксенова . . . . .	177
2. Тезей и другие . . . . .	212
3. Тамарисковый парк редких земель . . . . .	238
Отцы по домам, или Звездный билет, но куда? . . . . .	258
Словарь трудных слов и выражений . . . . .	273
Юбилей Аксенова . . . . .	274

# Несколько слов о Василии Аксенове и об этой книге

Василий Аксенов востребован сегодня, пожалуй, как никто из писателей его поколения. И это неудивительно: он с успехом продолжает свой писательский марафон. За последние три года вышли три его новых романа: «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004), «Москва-кваква» (2006), «Редкие земли» (2007). Первый из названных был удостоен Букеровской премии, все три вызвали лавину откликов в средствах массовой информации. Кстати, сравнение его творческого пути с бегом на самую длинную олимпийскую дистанцию вполне уместно: он сам, что известно из его многочисленных интервью,



очень любит бег и продолжает бегать по утрам, в каком бы географическом пункте планеты ни находился.

Аксеновскую квартиру в высотке на Котельнической набережной, воспетой в «Москва-ква-ква», ежедневно буквально сотрясает шквал телефонных звонков. Шквал звонков подобен прибою разбушевавшегося океана, прибою Атлантики, бьющего в берег Биарриц, курортного города на западном побережье Франции. Там писатель работает в небольшом, но довольно уютном доме, когда на несколько месяцев покидает Россию. Там, во Франции, — неудержимый напор стихии, в Москве — ажиотаж СМИ. Корреспонденты печатных изданий, теле- и радиожурналисты, издатели просят о встречах, съемках, об интервью, о новом печатном или аудиоиздании какого-нибудь из аксеновских произведений, уговаривают, настаивают. Кто-то из друзей и издателей побуждает писать воспоминания, которые действительно могли бы быть украшены таким количеством сногшибательно ярких эпизодов, что и не снилось иному заслуженному мемуаристу. Взять хотя бы историческую встречу 1963 года партийной советской верхушки с твор-

ческой интеллигенцией страны, где молодой Аксенов вместе с молодым Андреем Вознесенским стали главной мишенью разнузданных нападок первого лица СССР! С кем только не пересекались жизненные пути Аксенова: Исая Берлин, Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Мстислав Растропович и Галина Вишневская, Юрий Казаков, Олег Ефремов, Джон Апдайк...

Но на все эти дружеские призывы писать мемуары писатель ответил в сравнительно недавней книге «Зеница ока»: «С нарастанием числа лет я все больше получаю приглашений от издателей перейти на жанр воспоминаний. Многие говорят, что это модно, многие гарантируют успех на рынке. Немногие — те, что не спешат, — говорят, что это вроде бы мой долг. Кому долг и велик ли он? Долг прожитой жизни, ностальгии. У меня на этот счет есть своя точка зрения. Для меня литература — это и есть ностальгия, ничего больше и ничего меньше. Любая страница художественного текста — это попытка удержать или вернуть пролетающее и ускользающее мгновение. С этой точки зрения смешно ждать от автора двадцати пяти романов еще какой-то дополнительной ностальгии.

Лучше уж я увеличу число романов, пока могу. Вот почему я постоянно увиливаю от любезных приглашений».

Вместе с тем за последние годы в различных отечественных издательствах вышло несколько книг Василия Аксенова, отнюдь не романов. Но это и не мемуары. Они включают в себя его публицистические выступления в периодической печати и на радио, некоторые рассказы, в том числе новые или давно не переиздававшиеся, а также и стихи. Так, самая последняя книга «Край недоступных фудзиям» состоит из стихотворных текстов, которые взяты из всех двадцати пяти романов, упомянутых писателем в приведенной нами цитате. До этого, в 2005 году, была издана уже упомянутая «Зеница ока», в которую вошли его статьи, публицистика и беседы с известными журналистами на злобу дня. А в 2004 году вышла «Американская кириллица». Это собрание фрагментов из романов, рассказы и статьи, объединенные американской темой: Аксенов прожил в США 24 года после вынужденной эмиграции из СССР и последовавшим за ней лишением гражданства (такая «мера пресечения» в отношении



не в меру свободомыслящих граждан в те годы регулярно применялась). Но начало такого рода изданиям положила книга «Десятилетие клеветы. Радиодневник писателя», состоявшая из регулярных с 1980 по 1991 год выступлений Василия Аксенова на радио «Свобода», где он, по разумению советских идеологов, «клеветал» на Советскую власть, размышляя об отечественных проблемах.

Теперь вот, в развитие идеи подобного рода изданий, решено выпустить собрание предисловий и послесловий прославленного писателя, написанных им для книг товарищей по цеху, добавив сюда несколько его литературных воспоминаний и интервью, часть этих материалов публикуется впервые.

Представлены, в частности, предисловия и послесловия к таким разным по тематике и жанрам изданиям, как прозаическая книга поэта Владимира Мещенко «Блюз для Агнешки» («Рожденный в джазе»), «Опера нищих» Евгения Попова («Композитор Попов»), «Записки магаданского мальчика» Леонида Титова («Кто был этот мальчик»), «Камни у воды» Светланы Васильевой («Васильевская проза, Светлановский сюжет»),

«Улица генералов» Анатолия Гладилина («Наш ответ Франсуазе Саган»), «Упраздненный театр» Булата Окуджавы («Над разоренным гнездом кукушки»), а также интервью на литературные темы с Евгением Поповым, Ириной Барметовой, Зоей Богуславской.

Будем надеяться, что и эта книга Василия Аксенова вызовет такой же читательский интерес, как и все предыдущие издания.

*Виктор Есинов*

# «Звездный билет»

## Василия Аксенова

### Интервью с Евгением Поповым

Кумир многих поколений российских читателей Василий Аксенов был свезен коммунистами в дом для детей «врагов народа» ровно в тот день, когда ему исполнилось пять лет. Аксенов навсегда запомнил не только ту чекистку в кожаном реглане, которая тащила его в черную «эмку», но и свою простоволосую русскую няньку, которая по-звериному завывала с крыльца, провозжая любимое «дите». Всхлипывая, он впервые заснул на казенной кровати, прижав к мокрой щеке любимую игрушку, тряпичного львенка. Утром игрушка исчезла, начались «этапы большого пути»: нищета и богатство, слава и хула, изгнание и возвращение. Аксенов был самым



**крутым мэном** из интеллектуалов — «шестидесятников» и первым московским «плейбоем». Его пытались приручить, его пытались купить, его пытались запугать, но все было напрасно. «Добрый вечер, ГОСПОДА!» — обращался он по волнам «Голоса Америки» к землякам, ошавшим от «развитого социализма» задолго до того времени, когда перестроечные товарищи пустили это некогда белогвардейское слово в казенный оборот. Из его джинсового пиджака, как из гоголевской «Шинели», вышла вся современная русская проза.

Тоска по цивилизованной, богатой, веселой, а не традиционно угрюмой, нищей, забитой, изолированной России, всепрощение, жажда свободы, покоя, требование вернуть достоинство и стране, и людям, ее населяющим, — вот угадываемый мною нерв творчества Василия Аксенова, делающий это творчество уникальным и обеспечивающий его произведениям сохранность во времени и пространстве.

**ЕВГЕНИЙ ПОПОВ:** — Дорогой Василий Павлович, не согласитесь ли вы ответить на не-

сколько простых вопросов в преддверии вашего юбилея?

**ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ:** — С чего это ты вдруг стал мне «выкать»?

**Е.П.:** — Да сказали, что неудобно «на ты». Дескать, 70 лет не хухры-мухры. Я, правда, сопротивлялся, что, де, «не стареют душой ветераны» и так далее... Так что давай уж как получится... Вот первый вопрос. Василий Павлович, с какими чувствами, настроениями вы встречаете ваш юбилей?

**В.А.:** — Как всегда, со смешанными чувствами. У меня и в молодости этот день не вызывал отчетливых эмоций. Правда, когда мне вдруг исполнилось тридцать, я помню, подумал — ну все, начинается... это... снижение. Однако после тогдашнего юбилея я вдруг стал чувствовать себя моложе. А теперь и не знаю, вроде — совсем уже мафусаилов век... И настроение, как всегда, рабочее... Самое главное для меня — работа. Кстати, идеи творческого характера у меня чаще всего появляются по утрам, когда я бегаю...

**Е.П.:** — Тут вся Москва заинтригована, почему ты не встречаешь этот день на родине, где

у тебя и читатели, и поклонники, и телевизионщики рядом.

**В.А.:** — В разгар курортного сезона что-либо праздновать в Москве смешно. У меня всегда этот день совпадал с отсутствием в городе близких людей. Или я сам был в отъезде. Даст Бог, буду осенью в Москве, устрою **для своих** гуляние... более-менее умеренного характера. То есть шампанского там будет больше, чем водки.

**Е.П.:** — Эмигрант Аксенов обращался в начале 80-х по «Голосу Америки» к соотечественникам со словом «господа». Кто вы нынче, господин Аксенов? Профессор, писатель, телезвезда?

**В.А.:** — Разумеется, писатель. Даже когда я был стопроцентным профессором, я ощущал себя только писателем. А сейчас, когда я на пути к отставке, тем более. Хотя Джордж Мэйсон — университет — дал мне много хорошего, выручал меня в течение стольких лет. Но и я ему отплатил добром за добро. Несколько поколений студентов-славистов прошли через меня. Но теперь мое время будет отдано только писательству. Следующей весной я завершаю профессорскую деятельность. «Два столетия русского рома-



на» — один мой семинар. Другой — «Российский модернизм и левый авангард».

**Е.П.:** — Появилось сообщение, что по твоей «Московской саге», романе из жизни нескольких поколений московской врачебной семьи Градовых, снимают двенадцатисерийный телефильм. Расскажите что-нибудь об этом, Василий Павлович.

**В.А.:** — Да, съемки идут полным ходом. Киногруппа режиссера Дмитрия Борщевского сложилась, и все работают с энтузиазмом и самоотдачей. В съемках заняты и молодые актеры, и звезды — Юрий Соломин, Инна Чурикова, Кристина Орбакайте... Меня поражает, что молодые актеры гораздо выше, чем наше поколение.

**Е.П.:** — В каком смысле?

**В.А.:** — В прямом. Они выше **ростом**, чем мы. Не говоря уже о поколениях предыдущих. Там один актер играет красного маршала Блюхера, так этот парень выше меня, а Блюхер, как известно, был такой маленький, кривоногий...

**Е.П.:** — А музыку кто пишет?

**В.А.:** — Александр Журбин. Автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Там уже на мои стихи из романа возник сенти-

ментальный шлягер с прилипчивой мелодией «Тучи в голубом», пока его распевает лишь киногруппа.

**Е.П.:** — Говорят, что и твой сын работает на фильме?

**В.А.:** — Да, Алексей является артдиректором, то есть под его началом творят несколько художников кино, а он определяет эстетику фильма.

**Е.П.:** — А вот такой вопрос — доволен ли ты своими последними публикациями в России?

**В.А.:** — Практически все, что я написал, теперь издано на родине. К моему удивлению, мой последний роман «Кесарево свечение» даже неплохо продается, хотя и не рассчитан на массового читателя.

**Е.П.:** — А кто твой читатель? Ведь когда-то твоей прозой зачитывались миллионы.

**В.А.:** — Это — особая группа людей, и по нынешним временам — немаленькая. Вообще-то я не стремлюсь к расширению круга читателей... Хотя, меня в какой-то степени вдохновляет и поражает, что мои книги охотно читает молодежь. Я выступаю перед публикой в России и вижу в зале множество молодых лиц. Один раз на Солянке в Москве вдруг

передо мной тормознул какой-то супермерседес, из него вышел парень лет тридцати и начал шпарить словечками из моих сочинений...

**Е.П.:** — А как ты вообще оцениваешь состояние литературы после «времени большевиков»?

**В.А.:** — Трудно судить, когда находишься внутри литературного процесса. Трудно быть объективным. У меня есть всевозможные претензии, иногда недоумение и вообще Бог знает что, но тем не менее, мне кажется, что российская литература — живая, что она переживает процесс возрождения из парабиоза, советской нежити, я думаю, что те ниточки, которые пульсировали сквозь это ступорозное тело, они будут более активными. Россия всегда была литературоцентричной страной. Мне кажется, что литература в новом качестве, как неременная часть духовного процесса, будет более активной и в будущем. Появится новое поколение писателей, которые будут трудиться не только ради денег и лауреатских званий, будут участвовать во вдохновенном процессе самовыражения. Это процесс очень важен в литературе и сознании нации. В составе нации должно быть хотя бы несколько человек, которые самим процессом

самовыражения отвечают на невысказанные, несформулированные вопросы или, вернее, задают их. Ведь в основном-то человек живет автоматически. Один за другим катятся дни рождения и проходит жизнь. Все вокруг себя воспринимается механически. Человек не понимает, почему один предмет назван одним словом, другой — другим. Для него это — данность. А что на самом деле происходит? Что еще за этими затертыми понятиями существует и существует ли вообще? Вот — вопросы вопросов.

**Е.П.:** — А какая из твоих собственных книг у тебя самая любимая?

**В.А.:** — «Кесарево свечение». И не потому, что это — последняя книга. Мне там на самом деле многое нравится. Кажется, мне удалось соорудить такую конструкцию, в которой роман существует в более или менее гармонических формах.

**Е.П.:** — А из мировой литературы?

**В.А.:** — В разные периоды жизни было невероятное количество любимых книг. В детстве — дореволюционное Полное собрание сочинений Джека Лондона, откуда некоторые вещи так и не были перепечатаны при больше-

виках. Тогда же, в детстве был поражен Толстым, батальными сценами из «Войны и мира». Потом появились другие кумиры. Хемингуэй, Андрей Белый, «обериуты»... Мне трудно сказать, кто для меня НОМЕР 1. Есть такой анекдот: известного скрипача спрашивают:

— Вы первый в мире?

— Нет, — отвечает, — я — № 2.

— А кто же номер 1?

— О, их очень много...

**Е.П.:** — И все же, каким писателем ты себя ощущаешь? Русским или интернациональным?

**В.А.:** — Конечно, русским. Я чувствую себя дома только в стихии русского языка, хотя свободно говорю и пишу по-английски, по-французски вот сейчас заговорил...

**Е.П.:** — А как ты оказался во Франции? Почему не Испания, Португалия, Новая Гвинея? Аляска, Сибирь? И почему — Биарриц? Вообще, что, например, ты сейчас видишь из окна во время этого нашего разговора?

**В.А.:** — Большую зеленую долину, черепичные крыши домов, большое шикарное здание в стиле раннего модерна, за ним — Бискайский залив, где он поворачивает к Испании. Здесь

у меня теперь дом. На втором месте — Москва. На третьем — Вашингтон. А поселился я здесь практически случайно. Я однажды сюда случайно приехал, и мне почему-то захотелось жить именно здесь.

**Е.П.:** — Русских из окошка не видать?

**В.А.:** — Русские часто ходят мимо моего дома на пляж и сильно галдят. Они очень шумные и веселые ребята.

**Е.П.:** — Вот погоди, не дай Бог, попадешь в список местных достопримечательностей, как ГРАНД РЮСС ЭКРИВАН, и кончится твое очередное добровольное отшельничество.

**В.А.:** — Что ж, тогда перееду еще куда-нибудь.

**Е.П.:** — А что ты сейчас пишешь? Ты ведь некоторое время назад заявил, что «Кесарево свечение» — твой последний роман во всех смыслах слова «последний», что ты с писательством завязываешь.

**В.А.:** — Да нет, начал странный исторический роман из екатерининских, вольтеровских времен. Пытаюсь найти (поймать) интонацию языка, чтобы в нем одновременно была и архаика XVIII века и модерн.

**Е.П.:** — Тебе не кажется странным, что ты, всемирно известный писатель, кумир поколений, так сильно расширивший пределы русской литературы, не отмечен никакими наградами — премиями, например, орденами, медальками?

**В.А.:** — Очевидно с точки зрения людей, которые все это дают — не заслужил.

**Е.П.:** — Может, об этом не писать?

**В.А.:** — Да пиши ты, что хочешь, Женька! Мне все равно.

**Е.П.:** — Думал ли ты, что свой 70-летний юбилей будешь встречать во Франции?

**В.А.:** — Я вообще никогда не думал, что дотяну до таких лет. Да я и не ощущаю этого возраста. Особенно, когда бегу утром на довольно приличной скорости или еду с мячом на баскетбольную площадку. Попадание в баскетбольную корзину у меня теперь гораздо лучше, чем в юности, в этом я могу тебе поручиться.

*«Афиша», 2002 г.*

# Монолог одинокого бегуна на длинные дистанции

Это же не я придумал — бег на длинные дистанции. Вышла тоненькая брошюра в конце 60-х, ее написали два австралийских стайера. Авторы не помню, называлась «Бег ради жизни». Спортсмены ушли на покой, мгновенно стали терять форму, болеть, раздражаться. И они снова стали бегать! А мне тогда нужно было прекратить пить, я тоже решил последовать их примеру. В то время не было всемирной моды на бег, и зачем эта книга вдруг вышла в Советском Союзе — непонятно. Я был одним из первых таких «бегунов» среди писателей.

Я начал в литовской Ниде, у подножья огромной дюны. Бежал вверх, на вершине делал



огромный круг, спускался. С каждым днем бежал все больше и больше, до двух с половиной часов, а начинал с пятнадцати—двадцати минут. Сейчас я бегаю в среднем минут сорок пять в день.

Если перечислять страны, начать следует с Голландии. Приехал я на машине в Амстердам в восемьдесят каком-то там году, а в Амстердаме тогда было, как в Коктебеле в разгар сезона: МЕСТ НЕТ. Ночлег мы нашли, наконец, в маленькой гостинице, ночью вселились, а утром, когда все наши спали, я решил побегать. Бегаю-бегаю по совершенно не знакомым для меня улицам, и чувствую — все встречные смотрят на меня с какой-то таинственной ухмылкой. А некоторые, в частности женщины, даже хохочут. Я не понимал в чем дело, оглядел себя, вроде бы все в порядке. Что такое? Бежит человек, и все над ним издеваются! Оказалось, что я бежал по кварталу «красных фонарей» с его секс-шопами и неодетыми красавицами, томящимися за стеклянными витринами. Там, наверное, впервые видели человека, КОТОРЫЙ НЕ ЗА ЭТИМ ПРИШЕЛ, от того и веселились.

Когда я оказался в Америке, там уже вовсю бежали к тому времени. В Америке до сих пор

все бегают. Там парень, который показывал нам съемную квартиру, учил меня в лифте ездить. Говорил: запоминайте, чтобы попасть на второй этаж, нужно нажать кнопку № 2, на третий — № 3. Потом смутился, поняв, что вляпался, и уже небрежно так стал демонстрировать какой-то никогда не виданный мной доселе механизм. «Ну, это вы, конечно, знаете, сюда сначала нужно бросить мусор». — «А потом?» — спрашиваю я. — «Потом нужно нажать вот эту кнопочку и мусор прессуется, становится толщиной в полоску. У вас наверняка в России такие приспособления в каждом доме есть».

А в Праге у меня однажды была потрясающая встреча. Я жил в гостинице-корабле, пришвартованном к берегу реки Влтавы. Вышел рано утром пробежаться по набережной. Никого нет, пустота, лебеди плавают в изрядных количествах. Вижу, навстречу бежит некая фигура, и чем ближе она ко мне приближается, тем я отчетливо понимаю по каким-то неясным признакам, что это — американец. Потом он остановился и стал растяжки делать. Я вижу, что это — Питер Оснос, бывший корреспондент «Вашингтон пост» в Москве, а в то время — вице-президент моего издательства

«Рэндом Хаус». Я подбежал и говорю: «Питер, держу пари, что ты привез миллион Вацлаву Гавелу». (Гавел тоже в этом издательстве печатался.) Оснос посмотрел на меня невозмутимо и сказал: «Как ты угадал, Василий? Я действительно привез Президенту его гонорар».

Еще у вас в Самаре очень хорошо бегать, там эта ваша длиннейшая набережная великолепная вдоль Волги, я там всегда бегаю, когда у вас бываю.

И вообще, я бегаю везде, куда бы ни приехал. Везде и всегда. Каждый день. Прерываюсь только для баскетбола. Или уж бегать, или мячик бросать. Гром, молнии — это, конечно, чересчур, но вот дождливая погода чрезвычайно способствует бегу. Как-то особенно приятно бежать совершенно мокрому, твердо зная, что вернешься домой — высохнешь.

Кто еще из литераторов бегать любил? А вот есть такой знаменитый прозаик и поэт Алан Силлитоу, который на четыре года старше меня. Он написал замечательный рассказ «The Loneliness of the Long Distance Runner», «Одиночество бегуна на длинные дистанции». Его в Советском Союзе привечали как автора «рабочего романа»,

хотя и критиковали «товарища англичанина» за «натуралистические тенденции». Я с ним в Аргентине познакомился. Бегали другие знаменитости из этого же поколения английских «рассерженных молодых людей», которых всех почему-то звали Джонами — Джон Уэйн, Джон Брэйи, Джон Осборн. И знаменитый американец Филипп Рот бегал, и Апдайк (тоже Джон, который, кстати, был единственным иностранным автором альманаха «Метрополь»).

Когда бегаешь, постоянно приходят в голову всякие идеи, слова, фразы, сюжеты и их поворотики. Когда я писал «Новый сладостный стиль», то пользовался маленьким диктофоном, чтобы придуманное на ходу не забылось. Стихи очень часто слагаются. Бежишь, бормочешь что-нибудь вроде:

Паштета не отведав,  
Вы не уйдете, нет.  
Месье Велосипедов, —  
Отведайте паштет.

А потом это становится частью романа «Бумажный пейзаж», написанного мною уже вне России.

А вот русские классики XIX века хотя и не бегали, но тоже были спортивными господами. Пушкин — вот был настоящий наездник, верхом, без сопровождения пересек Кавказский хребет. Я где-то прочитал, что Александр Сергеевич даже зимой плавал. И не в проруби — в то время в Петербурге уже были бассейны. Лермонтов фантастически точно стрелял, в пятак попадал с пятнадцати шагов. Роковой исход его дуэли — следствие великодушия поэта. А вот наши знаменитости начала прошлого века более склонны были к богемным эскападам. Хотя... хотя они очень авиацией увлекались. Футурист Каменский был настоящим пилотом. Блок был совершенно потрясен воздухоплаванием, хотя сам ни разу не летал.

Бег для меня не удовольствие даже, а образ жизни. Бегая, я ощущаю себя не ВНЕ, а ВНУТРИ мира. Особенно на берегу Атлантического океана, в Биаррице, где я сейчас живу. Чаще всего я стараюсь ухватить момент отлива. Кладу спортивные туфли в рюкзак себе за спину и бегу босиком по твердому мокрому песку. Вот это — наслаждение, это — кайф, кайф колоссальный! Необыкновенное чувство! Еще в горах потрясаю-

ще бегать. Даже в Москве с ее загазованностью можно сыскать оазисы для бега. Многим людям это занятие кажется напрасной тратой времени, а мне бегать никогда не бывает скучно! Для меня это редкая возможность побыть в одиночестве среди вселенской суеты.

*Записал Василий Попов.*

*«ВЗОР», 2007, № 27*



# Рожденный в джазе

Напутствие читателю книги

«Блюз для Агнешки»

МОЩЕНКО происходит от слова «мощь»; значит, на джазовый манер я могу называть его *Mighty Vlad*.

И как тут не думать, что Владимир Мощенко написал здесь о своих собственных вехах, детстве, отрочестве и юности, тем более что и композиционно главная вещь книги — «Блюз для Агнешки» — разделяется на три места действия, где он в юные годы обретался: Бахмут, Тбилиси, Будапешт.

*Очень необычная, странная, пронизанная античной поэзией вперемежку с джазовыми аккордами книга!*

Меньше всего думаешь о джазе, когда начинаешь читать описание глухого советского захолустья, в котором проходило раннее детство героя — Мити Чурсина.

В жалких коммунальных квартирнках, в гнилых хибарах, на подванивающих дворах, под запыленными и прокопченными платанами шла жизнь работников железнодорожного узла и их семейств.

И все это к тому же было разъедено коростой НКВД, постоянным наблюдением и сыском, арестами, расправами, а также и добровольным стукачеством.

Казалось бы, «оставь надежды всяк сюда входящий», — и вдруг происходит какой-то сдвиг, и ты видишь, что эта коммуна — отнюдь не собрание роботов соцсоревнования, а некое довольно хаотическое сообщество соседей, в котором живы и дружба, и лирика, и, как ни странно, любовь к музыке — совсем не к маршевым ритмам, а к синкопическим подскокам джаза.

Сдвиг этот случается в тот момент, когда удивительно молодая и любвеобильная бабушка Мити Чурсина, Анна Марковна, натывается на



сидящего под деревом бродягу в заграничном пальто. К вящему удивлению читателя, бродяга оказывается никем иным, как паном Наделем — осколком роскошного европейского джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера. Еще совсем недавно этот польско-еврейский коллектив играл в ночных клубах веселого Берлина.

С укреплением нацистов веселье быстро испарилось, и Берлин превратился в столицу каменного орла.

Рознеровцы поняли, что надо бежать пока не поздно, и в самом деле, через несколько дней было бы уже поздно. Дорога была одна — на Восток, в родную Польшу.

Варшава, Краков, Львов...

Лабухи своим будоражающим свингом озвучивали стремительное приближение страшной войны.

Вскоре подписан был пакт Молотова–Риббентропа, и две тоталитарных державы раздербанили славянскую страну; оркестр Рознера оказался в великом, могучем и ужасном Советском Союзе.

Джазовый коллектив рассыпался по советским городам и весям.

Пан Надель оказался в темном углу Бахмута, и местные меломаны нежданно-негаданно соединились с большим джазовым миром Европы. В багаже у него были пластинки корифеев джаза, и среди них оказались пьесы великого гитариста Джанго Рейнхардта. Потрясенный этой музыкой, мальчик Митя взялся за гитару.

Джанго Рейнхардт стал бродячим мифом всей этой повести, написанной полсотни лет спустя моим другом Владимиром Мощенко — Майти Владом.

В лирических отступлениях трилогии, которые в какой-то степени сродни квадратам джазовой импровизации, читатель, всякий раз неожиданно, оказывается среди имен блистательной плеяды свинга и бибопа — Глена Миллера, Бенни Гудмена, Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Майлза Дэвиса, а то и на вечерних улицах нью-йоркского Сохо или парижского Монпарнаса.

Вторая часть трилогии приводит читателя в Тбилиси, где юный Чурсин с его неразлучной гитарой исполняет свою воинскую обязанность в качестве корреспондента военной газеты Закавказского округа.

Сталина давно уже нет, идут исполненные робких надежд годы «оттепели». А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чье имя как раз и говорит о тепле?

К тому времени, как я понимаю, Митя уже стал виртуозом струнного джаза, и его инструмент открывал ему двери тогдашней богемы.

Интересно, что среди вымышленных персонажей то и дело мелькают имена реальных людей, которых и я встречал в те годы в тбилисских застольях: Иосиф Нонешвили, Эдик Элигулашвили, Гоги Мазурин, Шура Цыбулевский... Все они приветствовали мечтательного юношу, грезившего джазом. Именно там возникла у него идея проникновения дальше, за пределы, пусть в социалистическую, но все-таки Европу, в Будапешт, где, конечно, на каждом перекрестке есть кафе и там играют комбо блестящих джазменов, венгерских вариантов Джона Колтрейна и Стэна Гетца.

Любопытно, что некоторые высокопоставленные офицеры из военных журналистов

помогут Мите Чурсину осуществить свою мечту, то есть получить направление в газету Южной группы войск.

И вот он в Будапеште, где даже молодые люди помнят яростный жар антисталинского восстания и непреклонную жестокость карательных советских танков. И именно здесь Митю ждет его первая настоящая любовь — Агнешка.

...Недавно Москва хоронила 90-летнего короля джаза Олега Лундстрема. Стоя рядом с автором этой книги среди джазменов на панихиде в Московском доме композиторов, я вспоминал свою молодость, которая, несмотря на всю «бездну унижений», была мощно приподнята свингом лундстремовского биг-бэнда. Вот почему люди нашего поколения столь жарко любили джаз: он помогал нам удерживать мечту о свободе.

Владимир Мощенко в «Блюзе для Агнешки» говорит о том же в своей удивительной лирической манере. Его герой — это никто иной как Кандид «оттепельной» поры. «Кто-то все-таки должен возделывать наш сад».

# Приветствие журналу «Октябрь» в связи с пятидесятилетием

Политика всегда покушалась на календарь, похищала у двенадцати месяцев их принадлежность к временам года, номерной смысл, не говоря уже о лирическом. Термидор (одиннадцатый месяц в якобинском календаре) стал означать антиякобинский переворот, обычный апрель-никому-не-верь дал название каким-то там тезисам, об октябре уж и говорить нечего — после 1917-го было забыто, что он «очей очарованье», вздымался красным валом величайшей на все века революции, знаменовал новую историю человечества.

В советской литературе, помимо всего великого, это слово было названием одного из толстых ежемесячников, в котором можно было напечататься и получить гонорар. Однако для того, чтобы там напечататься, надо было принадлежать к определенным кругам твердокаменных большевиков, проще говоря, — к сталинистам. Вожди журнала, и прежде всего главный редактор товарищ Кочетов, считались «правыми». К «левым», как тогда именовали партийных либералов, они относились со скрежетом зубовным. Те, в свою очередь, старались не упускать возможности как бы мимоходом лягнуть «правых», а то и «дать поддых» реакционерам, пренебрегающих антикультовой позицией непогрешимости партии. Основательную главу в истории советской литературы занимает противоборство «Октября» и «Нового мира», ведомого лауреатом Ленинской премии А.Т. Твардовским.

Вместе с могутным казачиной Анатолием Софроновым («Огонек») и тогдашним «скинхедом» Николаем Грибачевым (журнал «Советский Союз») узкогубый партиец Кочетов представлял нерушимую фортецию тех сил, что в нынешней Российской Федерации именуются «левыми», то

есть тогдашними буревестниками Союза правых сил. До сих пор, друзья, мы не отучились отличать «сено» от «соломы».

Насколько я помню, никто из нас никогда не печатался в «Октябре». Реакционный триумvirат был постоянной мишенью едких шуток. Между тем в самом этом журнале В. Аксенов был не чужим человеком: любая моя появившаяся в печати вещь (даже почти ортодоксальные «Коллеги») вызывали там приступы колик и излияния желчи. После моей вынужденной эмиграции один из авторов признавался: «Мы сигнализировали об этом В.А., но нам долго не верили».

И вот сейчас, по прошествии всего нескольких десятилетий, я участвую в праздновании юбилея «Октября» и чрезвычайно горжусь тем, что из жупела этого журнала я стал его полноправным автором. В то же время я, признаться, даже не знал, где он находится. Сейчас, входя в кабинет главного редактора, шедевр сталинского интерьера с невероятно высоким потолком, я представлял, как именно вот за этим столом сидел тот ярый ревнитель соцреализма. Теперь эта кубатура заполнена добром, чувством юмора, художественным чутьем. Ирина Барметова,

не клонясь ни вправо ни влево (тем более, что эти ориентиры у нас окончательно запутаны), четко определила основную линию журнала: передовой либерализм, великая традиция, тяга к мировой культуре.

Я очень горжусь тем, что здесь печатаются мои ближайшие друзья: Евгений Попов, Светлана Васильева, Анатолий Найман. Именно здесь, этот большой поэт, что называется, нашел себя в прозе, обрел, как говорят, *second wind* и напечатал уже несколько глубоких современных романов, сопоставимых с вереницей трифоновских шедевров.

В общем, вместе с поздравлениями я хочу сказать, что в наши дни журнал «Октябрь» утратил сакральный и страшноватый смысл, заключавшийся в его имени, и стал тем октябрём, который находится между сентябрем и ноябрем.



# Васильевская проза Светлановский сюжет

О книге Светланы Васильевой  
«Камни у воды»

Трудно сказать, в каком жанре написаны «Камни у воды». Подзаголовок гласит: «книга странствий». Чьих странствий и где, спросит дотошный читатель и разведет руками: от дотошности его тут мало будет толку. Сначала возникнет привычный для гуманитарного туриста форпост, Генуэзская крепость в Крыму, потом рассказчик скажет, что «мир за моим окном, вся эта мусорная множественность... постепенно истончилась, искрошилась и лежит теперь у меня перед глазами, как на ладони моего некогда маленького сына лежала какая-нибудь щепочка, палый листик или невзначай убитый кузнечик... Долгие клаустрофобические блуждания в «под-

лом, подлом мире, не оставляющем никаких воспоминаний о прошлой любви». Темный тупик под грифом «Смерть отца», под безысходной датой «22 июня». Отправка в 40-е годы. Похоронная процессия. Две старинных почтовых карточки. Гаснущий сад. Затихающая песенка отца. Девять посланий от одной осиротевшей сестры к другой. Следующий кашмаршрут — это старые фотографии: «и любили они, бывало, фотографироваться перед распахнутыми окнами, в сидячих позах, а на обороте непременно поставить подписи; однажды он подписался: «*L'homme perdu*»... А между тем «в каждой ямочке солнце социализма играет». Тут возникают и Мордовия, и «глухое Черноземье», и Поволжье, и Тамара Ханум, и «с бидоном в кооперацию», и Красноштаны, которые на чужой участок зарятся, и в эвакуацию всем географическим факультетом, и поросенка кто-то собирается резать, и на конференцию ВКП(б), и на базар, темный платок за 70 целковых, и в Москву опять, но только уж в другую Москву, вечную; вот такая тут демонстрируется фотография-география.

Вынырнув из фотографии, мы оказываемся за рамкой, в потоке времени, вернее не в потоке, а в

водовороте, куда вне всяких композиций стекают то бурные, то медлительные ручьи ностальгии. Поезд Москва–Берлин приходит на целинные земли, в становище студенческого стройотряда. Насосная станция столицы СССР граничит с Порто Гидра (Греция). Попутно — неясно впрочем, в какую сторону — возникает Европа, «эта бездна огней», что «составляют фигуры самых разнообразных миражей». К «сияющим отрогам Альп» прилепился «наш дорогой любимый Ново-Лебедянск». Кто-то хочет угостить здешнего председателя блюдом с ядохимикатами. Вдруг возникает некая горная страна, пробуждающая память о «Христолюбивом воинстве». Крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины: «беды в горах, беды в градах, беды и в пропастях земных».

Трудно в коротком предисловии сказать обо всех маршрутах «книги странствий», нельзя, однако, и не упомянуть о Святой земле, хотя бы потому, что, как утверждает наш многоликий рассказчик, или единоликий автор: «мир» по-гречески означает «ожерелье», он весь у твоего горла». Как ни странно, эти страницы книги полны отчетливой словесной живописи, в них меньше притчи,

мистики, их метафизика пропитана солнечным воздухом и умиротворенным юмором.

Кто же этот неутомимый, постоянно возрождающийся, а временами до конца, казалось бы замученный своей дорогой странник, героиня «Камней у воды»? Уже в середине книги автор, внезапно прибегнув к академическому местоимению, заявляет: «Мы даже не знаем, кто она такая». Что ж, проходя через эти удивительные страницы, читатель привыкает к вечно меняющемуся образу и понимает, что ему не нужны ни «ай-ди», ни «сиви» героини, кем бы она ни представала — Генуэзской ли крепостью, Вечной ли Женой чекиста (ВЖЧ), Ангельчиком ли Надей, Леди ли Годивой, Татьяной ли Онегиной. Мы можем вспомнить книги без героя Натали Саррот, но дело совсем не в поисках генезиса. Перед нами движется своего рода сновидение, в котором путешествует душа, и в этом сосредоточена главная ценность и «васильевской прозы» и «светлановского сюжета». В нынешнем мире осатаневшей графомании встреча с такой книгой — это редкая удача. Ностальгия умного, тонкого, религиозного и одновременно карнавального автора создает основательный противовес убожеству современной мемуарной литературы.

# Над разоренным гнездом кукушки

:

В 1961-м в Питере, в доме кинорежиссера Венгерова, я впервые услышал песенку «Комсомольская богиня» в исполнении автора, Булата Окуджавы.

Я смотрю на фотокарточку:  
Две косички, строгий взгляд  
И мальчишеская курточка,  
И друзья вокруг стоят.  
За окном все дождик тенькает,  
Там ненастье на дворе,  
Но привычно пальцы тонкие  
Прикоснулись к кобуре.

Вот скоро дом она покинет,  
Вот скоро грянет гром кругом,  
Но комсомольская богиня...  
Ах, это, братцы не о том... •

И так далее.

Вдруг, неожиданно для себя, мне пришлось встать и отойти в угол комнаты. Прокашляться там. Освободиться от того, что называется «комком в горле». Никогда не подозревал за собой таких сильных эмоций по отношению к комсомолу. «Это о моей маме», — сказал Булат. Ах вот в чем дело, понял я. Это ведь и о моей маме тоже. Об их юности. О том времени, когда они даже еще и не знали наших отцов, когда они были влюблены только в собственную юность. Булат своей песней пробудил во мне странную ностальгию по тому времени, то есть по революции, которую я после своего магаданского опыта лишь презирал до отвращения.

И вот я читаю книгу его детства — «Упраздненный театр». Снова испытываю ощущение чрезвычайной близости к моей собственной судьбе. Восьмилетняя разница в возрасте не

дала мне возможности до поворотного 1937 года ощутить себя на его манер «юным большевиком», борцом за «светлые идеалы», преисполниться ненависти к «врагам социализма», однако по многим другим признакам близость была исключительной.

Взять хотя бы половинчатую смесь крови, в его случае грузино-армянской, в моем — русско-еврейской. И его и мои родители были активными партийцами, выдвиженцами революции. Шалва Окуджава стал первым секретарем Тагильского горкома; Павел Аксенов председателем Казанского горсовета. Ашхен Налбандян была сотрудницей райкома, Женя Гинзбург — сотрудницей газеты «Красная Татария». Все четверо были арестованы в одном и том же году. Шалва получил «десять лет без права переписки», то есть был убит, Павла приговорили к смертной казни на открытом процессе, но потом заменили приговор на 15-плюс-три. Женя отправилась в ГУЛАГ в качестве «троцкистки», та же судьба постигла и Ашхен. Булат начал в ранней юности проходить по безднам советского унижения, я вступил на этот путь еще в раннем детстве. Булат был солдатом на фронте, мой старший

брат Алексей умер в Ленинградской блокаде. Все это, не считая уж и другого, творческого, ренессансного, привело к тому, что я всю жизнь испытывал к Булату не просто дружеские, но чуть ли не братские чувства.

Говоря об этой книге, следует, очевидно, начать с многоименности героя. Автора и героя в младенчестве стали шутливо называть Ванван-чем. То есть Иваном Ивановичем. Потом, когда пришла пора официально его зарегистрировать, юная мама предложила имя Дориан. Молодому папе это имя понравилось. По непонятным автору «семейной хроники» причинам, его родители-революционеры были тогда увлечены совсем не революционным романом «Портрет Дориана Грея». Только в самый последний момент Шалико Окуджава заколебался. «Слушай, какая-то претензия есть в этом Дориане. Может быть, назовем его Отаром?» Ашхен пришла в восторг, она сама уже не знала, как отказаться от уайльдовского денди. Тут уже с легкой душой устроили Отарчику «октябрины» по месту работы мамы, в клубе «Трехгорной мануфактуры». Дальше, впрочем, на всем протяжении книги



имя Отар почти не употребляется, а малолетнего героя весь многочисленный тифлисский клан с удовольствием называет ласковым прозвищем Кукушка. Так же ни разу не упоминается и имя Булат, в этимологии которого слышится что-то металлическое, воинственное, столь несоответствующее всей сути маленького мечтателя, будущего певца нашего поколения.

Здесь, может быть, уместно будет сказать, что на своем смертном ложе в Париже Булат принял крещение, и в московском храме Козьмы и Домиана отпевали Иоанна Окуджаву. Круг завершился.

Семейная хроника начинается с середины XIX века, когда солдат Павел Перемусев, «то ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов», осел на Кавказе и женился на «кроткой Саломее Медзмариашвили». Одна из их дочерей Елизавета вышла замуж за Степана Окуджаву, который был «невысок, неширок, но ладен и даже изящен»; писарь и вольный стряпчий славного города Кутаиси. Он появляется и сразу проводит нас в сердцевину щедрого края, в базарные ряды, где свисают

багровые туши и высятся горы сыра, арбузов и чурчхел, где бочки заполнены джонджоли и цицакой, где в воздухе стоит аромат сунели и пышут жаром печи-торни, из коих извлекаются хрустящие пури.

Кутаиси, а потом Тифлис постоянно чередуются в повествовании с Москвой, со старыми арбатскими дворами. Богобоязненная няня Акулина Ивановна заглядывает в широко распахнутые кавказские глаза своего любимого Кукушки, и там отражаются ее сказки о Василисе Премудрой, о Микуле и Аленушке, там витают и ангелы Господни. Кукушка помнит, что Акулина Ивановна не раз осеняла его крестом и шептала молитвы. Однажды она приводит его в храм, где он видит огромные изображения бородатых мужчин и женщин с миндалевидными глазами. Дома он рисует белую церковь с крестом на макушке. Ашхен приходит в ужас.

Большевикам-родителям приходится отказаться от преданной нянюшки.

В этом пункте наши судьбы снова сближаются. Моя няня Евфимия Пузырева и бабушка-крестьянка Евдокия Васильевна были

чрезвычайно набожными женщинами. В семье ходили слухи, что они тайно подвергли младенца кощунственному, с большевистской точки зрения, обряду крещения. (Десятилетия спустя эти слухи головокружительным образом подтвердились.) Мама уже после тюрьмы и лагерей не раз вспоминала, как я в трехлетнем возрасте однажды похвастался, что был с няней в «цирке, где звонят и молятся». Няня, впрочем, осталась с нами до конца.

Утрата няни, а потом и утрата возлюбленной подружки детства Жоржетты, уехавшей с родителями в эмиграцию, заставила Кукушку впервые почувствовать «мелодию утрат». «Эта мелодия переполняла все его существо, а жизнь без нее казалась невозможной». Случайности ли направляют течение жизни или все предопределено судьбой, задается вопросом автор. Может быть, и то и другое, может быть, и судьба сама является случайностью?

Между тем Кукушка растет в своем счастливом детстве, окруженный целой толпой влюбленных в него родственников. Истинный театр, переполненный миловидными персона-

жами. С ним говорят по-русски, но здесь же присутствуют и грузинский гортанный акцент с его взлетающей интонацией, и армянское каменистое, цокающее, безутешное «цават танем», и высокопарное «генацвале». У бабушки Лизы за длинным столом собираются все четверо братьев Окуджава, их сестра Оля с женихом Галактионом и сестры Ашхен; все исполнены любовью и уважением друг к другу. Этот миропорядок кажется мальчику вечным, и только позднее он начинает понемногу понимать, что приближается трагедия.

Вдруг долетает странная фраза дяди Миши: «Нас ожидает худшее: горийский поп на этом не остановится... Мы не в состоянии доказать свою правоту...» Братья-троцкисты все еще стоят на своей марксистской философии. Они возмущаются, когда их сестра Оля начинает повторять за русским философом, что «равенство — это пустая идея, что социальная правда должна быть основана на достоинствах каждой личности, а не на равенстве».

Жених Оли молодой поэт Галактион Таоидзе, пытаясь воспеть новый мир, ощущал боль в пальцах и петлю на горле. Он не видел добра

в нарастающем «гранитном материализме» и вопрошал братьев: «Что можно противопоставить вашей непреклонности и обилию крови?» Удушающий большевизм наплывал на Тифлис и не оставлял никаких надежд.

Кукушка тем временем продолжал расти, он думал об Александре Македонском, о велико-лепном революционере Марате, убитом подлой троцкисткой Шарлоттой Корде, читал Сеттона Томпсона, рисовал большие парусные корабли, подражая знакомому писателю Александру Авдеенко, писал повесть, начинавшуюся словами «Мне минуло одиннадцать лет», с блаженным трепетом прикасался к девчонкам в классе и во дворе, активно шастал по этим арбатским убогим дворам, исполненным для него невысказанной тайной неупраздненного еще театра, именуемого детством.

Однажды, открыв ящик отцовского письменного стола, Кукушка увидел пистолет. Он обхватил его рукоять и почувствовал неслыханное волнение. Дальше, там чуть было не произошла чеховская драматургия, впрочем, читатель сам должен добраться до этого экзистенциального контрапункта семейной хроники.

Для меня тут важно то, что на этой странице я снова испытал «дежа ву». Дело в том, что в трехлетнем, что ли, возрасте я тоже незаконно пробрался в кабинет отца и в ящике его стола увидел большущий, как мне тогда показалось, пистолет. В 1935 году, после убийства Кирова, ведущим партийцам было выдано личное оружие для защиты от врагов. Никто из них им не воспользовался.

Все чаще Кукушка замечал, что родители и родственники то и дело понижают голос и замолкают, когда он входит в комнату. Из Тифлиса приходит странная новость: пропал дядя Миша. Вскоре прибывает телеграмма: «Володя и Коля уехали к Мише». Глухо упоминается приятель юности, Лаврентий Берия. Шалико на городском партактиве клеймит меньшевистскую позицию некоего Балясина. Вдруг: Олю и Сашу взяли! Да за что? Они же не были в партии! Шалико обреченно машет рукой. И наконец: газета «Тагильский рабочий» сообщает, что «Шалва Степанович Окуджава освобожден от должности первого секретаря горкома за развал работы, за политическую слепоту, за потворствование чуждым элементам, за род-

ственные связи с ныне разоблаченными врагами народа».

Рушатся декорации, вычеркиваются уже заготовленные для Кукушки монологи и диалоги, театр распадается, детство кончилось. Зрители покидают помещение для того, чтобы найти такую же разруху в их собственных домах. Недаром зощенковский хам постоянно точил зубы на некий обобщенный «театр». Спектакль упразднен, вступает в действие всесоюзный допрос с пристрастием.

В этой своей семейной хронике Булат тревожит «старые раны», о которых с такой пронзительностью говорил наш общий друг Юра Трифонов. Маленький Кукушка становится обобщенным портретом сотен тысяч. Вместе с Булатом он задает множество вопросов как бы от лица поколения, кроме одного: каким образом возник в этом милом и скромном мальчике его великий песенный гений? Впрочем, не задает вопроса, может быть, потому, что ответа не знает. «...Так природа захотела. Почему, не наше дело. Для чего, не нам судить».

# Композитор Попов

Евг. Попов принадлежит к определенному числу тех писателей, что постоянно сочиняют неожиданные книги. Вот вроде бы давно уже всем любителям русской литературы ведом этот бородатый и слегка чуть-чуть несколько седовласый мастер слова, родившийся в городе К., раскинувшемся на берегах могучей реки Е., что несет свои воды вверх по карте к малоподвижному океану Л., вот вроде бы и первый основательный юбилей уже не за горами, и слог уже выработан, и глаз иронический уже стабильно нацелен на всякие аляповатости жизни, ну, казалось бы, борзись, перо, расширяй то, что нам всем знакомо и любимо... Ан нет: расширения ему мало, внедряется в новые почвы, воспаряет в новые



головокружительности; вот таким образом и возникает своеобразная «евг-поповщина», некое путешествие наобум под разноцветными парусами, сродни плаванию Пантагрюэля. В этой связи не вредно будет вспомнить книгу «Подлинная история зеленых музыкантов», в которой сама история занимает двадцать процентов текста, а на восемьдесят разворачивается «комментарий», создающий раблезианский мир советского и постсоветского абсурда. Или вот еще один пример творческой неожиданности. Любители классификаций могут зачислить Евг. Попова в разряд сугубо отечественных постмодернистов, додекафонических певцов постсоветских убожеств и развалов, однако пусть не торопятся — впереди уже маячит удивительный «Мастер Хаос», заряженный энергией под завязку, словно новенький шведский аккумулятор. Экзистенциальный хаос как раз тут и переселяется в скандинаво-балтийский мир, в котором я даже по описанию ветреного дня в дюнах узнаю свой излюбленный остров Готланд, где рядом с голубями бытуют и химеры; увы, это так, милостивые государи.

В книге этой автор предстает не только философом, но и словесным живописцем, прочувство-

вавшим своеобразную «балтийскую меланхолию», характерную для картин Эдварда Мунка.

Ну а теперь о новой книге «Опера нищих», которую я вознамерился предварить своим кратким вступлением. Каких только не намешано в ней художеств и жанров! А в целом, вот именно, получается современная «опера»: арии, дуэты, хоры, джазы, блюзы, додекафонные звуки — и все это сливается воедино и формирует знатную композицию.

«Опера» состоит из трех актов:

- 1) рассказы,
- 2) беседы,
- 3) случаи, то есть выступления автора на актуальные темы.

Среди любопытных персонажей десяти рассказов присутствует некий писатель Гдов, в котором проницательный читатель может распознать своего рода alter ego автора с его самоироническим прищуром. Гдов пишет рассказ о Гдове, который пишет рассказ о Гдове, пишущем рассказ о Гдове. Публике впору тут отыскать первоначального Гдова, чтобы трахнуть его по макушке манускриптом. Но публике уже не до

этого: она уже всю «кушает», как предлагает администрация, «не стесняясь». Со столов сыпятся стаканы, парусят портьеры и шторы, вертикально торчат галстуки, склеиваются крашенные ресницы дам — вот так все выглядит в рассказе «Виртуальная реальность».

Такова, собственно, и есть в творчестве Гдова, и, благодаря своей калейдоскопичности, она бесспорно предстает как наша и в то же время «гдовская» российская реальность.

Ну, надо же додуматься: из всего сонмища новых московских кафе, среди которых можно даже найти «Скромное обаяние буржуазии» (на Сретенке, если кто не знает), он выбирает для нас кафе под названием «Кафе», в котором можно бросить якорь по пути из Шереметьева в центр. Выбор чисто гдовский; да он и сам там сидит с безработным коллегой Хабаровым и с компанией конкретных братков: жизнь изучает («Без хохм»).

Рассказ «Небо в алмазах» вот именно алмазом может воссиять на небосводе всемирной чеховианы с ее бесконечными трактовками сестер, чаек, дядьвань, вишневок, тем более что героиня его Розалия Осиповна Аромат — «акула издательского бизнеса» и звезда гдовианы. Гдов

является человеком нашего времени, и поэтому от TV ему никуда не деться. Даже починяя скважину в своем «вишневом саду», то есть на дачном участке, он время от времени заходит в дом —дохнуть телевизором («Старик и скважина»).

А кого там только нет! Даже бывший советский писатель-лауреат Д. Гранин, в свое время исключавший из Союза писателей СССР автора, то есть alter ego писателя Гдова, появляется, не запылившись. Интересно, что появление в телевизоре бывшего «советикуса» приводит Гдова к странному покаению: «Правильно, что меня в свое время практикующие коммунисты выкинули из Союза писателей.

Ведь я действительно ровным счетом ничего не знаю и не умею из того, что на самом деле должен знать и уметь писатель. Писатель — не я, это — другие, как ад Жан-Поля Сартра». И в конце концов Гдов ночью, над скважиной, приходит к поистине фундаментальной идее нашего времени: «Лихорадочней живи, не нужно останавливаться, хуже будет».

Он знает жизнь миллионеров и даже иностранцев. В его лихорадочной прозе может, например, деревянной походкой пройти некий американский атташе, плохо знакомый с русским

языком, однако временами исторгающий без всякого акцента, хоть и ни к селу ни к городу: «Хароший мужик!» Не могу тут удержаться, чтобы не добавить к этому дивному попово-гдовскому штриху свой собственный того же рода. Однажды в студеную зимнюю пору на Тверской мне попался мой бывший студент в туфлях на босу ногу. «Как дела, Брэдли Кук?» — спросил я. «Ничего страшного», — ответил тот без малейшего акцента, а ведь прежде не знал ни одного русского слова.

А проза становится все более лихорадочной, и вот уже друг Гдова безработный Хабаров в поисках своих 7000 долларов приезжает на остров Крым и прыгает с «Ласточкина гнезда», чтобы благополучно приземлиться на территории Украины.

Рассказ «В поисках утраченной духовности» был признан шедевром жанра еще тогда, когда он появился в еженедельнике «Новый очевидец». Это издание и само считалось шедевром нашей в общем-то расхристанной периодики. Увы, сия еженедельная шедевральность показалась спонсорам журнала каким-то чрезмерным казусом, и «Очевидец» приказал долго жить. Гдовский рассказ подчинился приказу и остался жить, равно как и помышляющая о веревке

его героиня Ульяна, изящная дама духовной элиты, пьющая литровую бутылку скотча перед полыхающим телевизором. Параллельно она потребляет живучие еженедельники типа «АиФ». Факт громоздится на акте, акт на факте, и все это направляет взгляды дамы под потолок, к крючку, на котором можно было бы и повеситься как аргумент фактической гдовианы.

Первый акт «Оперы» завершается железным гдовским императивом: «Смотреть действительности в лицо не мигая». Именно так, не мигая, смотрит в лицо действительности писатель, когда в рамках всероссийской переписи населения приходит вместе с несовершеннолетним сыном на участок и уточняет свою национальность. Оказывается, они оба принадлежат к кетам, древней сибирской народности, насчитывающей в своем составе 1022 человека. Исторический оптимизм Федерации берет свое, кетов становится 1024.

Во втором акте «Оперы» на сцене появляется хор из отменных солистов. С каждым наш автор (уже не Гдов, а самый настоящий Евг. Попов) поет дуэт, но поскольку все эти дуэты на бумаге — то существуют одновременно, вот и получается некий виртуальный, пусть и небольшой, хор.

Каждый, конечно, поет что-то свое, однако автор не только ведь вопрошает, но и дирижирует, поэтому под его дирижерской палочкой возникает что-то вроде оратории «поющих вместе». Хитрый Попов расставляет всех слева направо по алфавиту, и таким образом Аксенов оказывается впереди лидера группы «Ленинград» Шнурова, а тот опережает венгерского писателя Эстерхази. Как сказал бы китайский музыковед: «Перед нами хор нового типа».

Писателей в этом хоре больше, чем лиц других профессий. Не будем говорить подробно о каждом, скатимся в другую крайность и возьмем кое у кого по одной фразе.

Аксенов: «Мне многие друзья говорят, когда приезжаю: «Тебя по интонации можно вычислить как не совсем нашего...»

Ахмадулина: «Или Рафаэль прекрасный появляется, или Пушкин, а вы все злодействуете».

Войнович: «...Терпеть не могу эти журналистские вопросы о знаках Зодиака; я вот одному доверился, сказал про Деву, а тот все перепутал... ну, да Бог с ним...»

Эстерхази: «В Венгрии отвыкли от общественного разговора... Осталось только ощущение какой-то исторической обиды, центральноевро-

пейское ощущение самосожаления...» Вот эти несколько фраз, взятые из общего гула, из «шума времени», воспроизведенного Поповым на партитуре его «Оперы». Толпясь на перекрестках великих городов, беседуют с нашим общим другом Женей Поповым философ Струве, политолог Грин, трудящийся Хомяков, рок-музыкант Шнуров.

И наконец, третий акт, который может прозвучать и как эпилог. Составлен он из репортажей, написанных по горячим стопам ежедневной российской несправедливости. Из них сильнейшее впечатление производит воронежская история. Там по приказу каких-то, то ли местных, то ли федеральных, властей происходит демонтаж областного центра геронтологии. Одиноких, прижившихся в уютном доме старцев и стариц отчисляют на «отправку» в самые захудалые и ужасающие психушки. Никакие мольбы и стенания не помогают. Власть неумолима.

Эти репортажи написаны, разумеется, за пределами карнавальная гдравианы, жестким, сухим слогом возмущенного писателя. Пусть это покажется преувеличением, но я вижу в этом слоге какую-то связь с традицией Вольтера, выступавшего против издевательств над гугенотами. «Опера» завершается глухими ударами барабана.



# Одна библейская история

Год или два назад в Москве я был на просмотре документального фильма датского телевидения. В прологе мы увидели огромные пространства по обе стороны могучей сибирской реки Лены в районе Якутска. Из стоящего на вершине холма перекосившегося дома выходит женщина, вытирает фартуком руки и кричит на весь простор: «Сэми, иди куша-а-ать!»

Этот кадр — дань далекому прошлому. Сэм Рахлин, конечно, и сейчас откликается на такие приглашения, но сейчас он, матерый копенгагенский телевизионщик и единственный датчанин, родившийся в Якутии, воскрешает этот ежевечерний женский призыв как своего рода эпиграф к фильму о путешествии в страну

детства. Такой зеленый привольный ландшафт, видимо, чаще других картин всю жизнь возникал перед ним при слове «Якутия». Так часто бывает при воспоминаниях о детстве: хорошее запоминается лучше. В раннем детстве я провел полгода в спецдетдоме для детей арестованных «врагов народа»; больше всего мне запомнилась тамошняя новогодняя спецелка.

Родители Сэма, Израэль и Рахиль Рахлины, авторы книги «Шестнадцать лет возвращения», чаще вспоминают зимний Якутск, когда температура зашкаливала за  $-50^{\circ}\text{C}$ , и народ неделями не выходил из дома, но не только из-за мороза, а также и из-за уголовников, сдирающих с граждан теплую одежду и оставляющих околевать на улицах.

Что занесло эту молодую пару, гражданина Литвы и гражданку Дании, в эту, с точки зрения европейца, полностью непригодную для жизни страну? Авторы начинают с мирных времен. Израэль родился в Российской империи, в маленьком литовском городе Кибартае, расположенном вплотную к известной железнодорожной станции Вержболово, за которой уже начиналась вполне доступная Европа. Именно эту станцию вспомнил однажды в полемическом стихе Владимир Хлебников: «Новаторы от Вержболово,

что ново там, то здесь не ново». В семилетнем возрасте на Израэля свалилось первое несчастье: он заболел полиомиелитом, отнялись ноги. Семья Рахлиных принадлежала к уже третьему поколению поставщиков лошадей. Зажиточные капиталисты, они могли предоставить своему единственному ребенку самые эффективные по тем временам методы лечения на самых лучших европейских курортах. Долгие месяцы лечения принесли положительный результат, Израэль начал передвигаться без трости. Однако миастения нижних частей ног осталась у него на всю жизнь. Как ни странно, этот недуг в дальнейшем выручал его несколько раз в ходе путешествия в Сибирь, спасая от отправки на губительные трудовые повинности. Таковой оказалась вся судьба Рахлиных, в безысходной беде гнездились спасение. Но об этом позже.

В годы Первой мировой войны и последовавших за ней революций и Гражданской войны Израэль вместе с родителями путешествовал в разных видах транспорта, включая и теплушки «Сорок человек/восемь лошадей», по просторам бывшей империи, пока наконец не вернулся в независимую Литву, в свой тихий Кибартай, где бизнес благополучно восстановился.

Восстановилось и нормальное участие в жизни Европы. Молодой Израэль учился в Лейпциге и ездил по разным странам. Однажды в Копенгагене, в парке Тиволи, он познакомился с девушкой по имени Рахиль, родившейся в Ливерпуле, но проведшей всю жизнь в Дании. Судьба угадала в них соавторов будущей книги и больше уже не отделяла друг от друга.

Интересно, что композиция книги составлена по принципу чередования глав от первого лица, под заголовками то «Израэль», то «Рахиль». Иногда они объединяются для совместного рассказа, и тогда глава именуется «Рахиль и Израэль». Такой принцип привносит в книгу особую ноту, то ли библейской притчи, то ли современной прозы, или и того и другого. Главное, он дает нам почувствовать неотделимость этих двух людей друг от друга, их готовность к самопожертвованию ради любимого существа или к совместной гибели. Вот это и делает «Шестнадцать лет возвращения» уникальным человеческим документом.

В 1935 году они обвенчались в Копенгагене и поселились в своем городке в Литве, где Израэль стал главой фирмы. Здесь родился их первенец Шнеур, а потом и дочь Гарриетта. В 1940 году

Литва стала советской республикой. В страну, разумеется по просьбе трудящихся, а вовсе не по тайному сговору между Гитлером и Сталиным о разделе Восточной Европы, была введена Красная армия. В 1941 году, за несколько дней до 22 июня, в рамках программы по депортации «буржуазных элементов», в их дом вошли чины НКВД, построили всех вдоль стены с поднятыми руками, провели обыск и объявили указ о высылке на восток. Через пару недель вся территория Литвы была уже под властью немцев, которые немедленно начали депортацию евреев на запад. В принципе, два безумных государства проводили одну и ту же политику холокоста, только нацистский холокост был этническим, а советский — социально-политическим. Высылка Рахлиных в Сибирь по формальному признаку спасла их от газовых камер, хотя обрекла почти наверняка на гибель от множества других причин. В данном случае все-таки слово «почти» оказалось решающим.

Я много раз читал о теплушках, в которых Советы перевозили свой рабский контингент, не говоря уже о том, что в книге моей матери Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» есть глава

под названием «Седьмой вагон». И все-таки всякий раз дух захватывает от негодования: как эти гады в Кремле и на Лубянке осмеливались на такие многомиллионные перевозки «социально чуждых», заключенных, раскулаченных, переселенных народов, разного рода спецконтингентов, неужели они думали, что укрепитя, а не рухнет от этого — и как оказалось в довольно короткий исторический срок — их любимая социалистическая держава?

Будучи в Магадане, я познакомился в жалкой комнате моей только что отбывшей 10-летний срок матери с большим числом таких людей, о существовании которых я, советский юнец, даже и не подозревал. Там среди бывших советских заключенных было немало и иностранцев: немцы Франц и Гертруда, австрийцы Иоганна и Гансуля, итальянец Пьетро, западный украинец Поночевный (он, кстати, был спецпоселенцем, как семья Рахлиных), а также внутренний эмигрант, сионист доктор Уманский. Все эти люди должны были быть «стерты в лагерную пыль», много раз за время их «крутого маршрута» они были почти уничтожены, однако выжили.

Откуда же бралось это чудодейственное «почти»? Книга Рахлиных дает ответ на этот

вопрос. Представьте себе многодневную пургу в Алтайском крае. Семья высланных «западников» переживает непогоду вокруг своего жалкого очага. Вдруг слышится стук в дверь, и в жилище входит директор местного совхоза товарищ Ермолаев. За плечами у него огромный рюкзак. Он объясняет Израэлю, что в совхозе проходят учения по гражданской обороне. Тот, зная о пристрастии русских мужчин к крепким напиткам, выставляет на стол бутылку водки. Ермолаев принимает приглашение, а потом развязывает рюкзак и выдает на-гора весомый мешок пшеничной муки. «Гражданская оборона», оказывается, была лишь поводом, чтобы, не вызывая подозрений в сочувствии «буржуазным элементам», принести им этот драгоценный по тем временам дар.

Из более или менее обжитого Алтайского края литовцев погнали все глубже и дальше в дикие бездны Сибири. Никакого другого смысла, кроме вымирания этого спецконтингента, не просматривалось. Наконец, после многонедельной мучительной дороги, семейство с малыми детьми и с бабушкой прибыло в конечный пункт, поселок Быков Мыс в устье Лены, в сорока километрах от Тикси. Страшнее уже ничего нельзя

было придумать. 400 человек заткнули в баржу с трехэтажными нарами. Однако и здесь нашелся самаритянин. Директор рыбозавода Семикин посоветовал Рахлиным построить юрту и снабдил их стройматериалами.

Такие люди то и дело попадались им во время их, казалось, бесконечного хождения по мукам. Несчастливая семья, очевидно, вызывала непроизвольное сочувствие, которое оказывалось сильнее политической доктрины. Самый удивительный случай произошел много лет спустя, уже после войны, когда им удалось зацепиться на сельскохозяйственной селекционной станции возле Якутска, где и появился на свет божий маленький Сэми. Директор станции Климов собирался в командировку в Москву. Набравшись отчаянной храбрости, Рахиль попросила его отвезти в столицу ее письмо с просьбой о помощи в датское посольство. Не сказав ни единого слова, большевик взял это письмо, и оно было доставлено по адресу. Через некоторое время пришел официальный ответ, впервые за семь лет скитаний была установлена связь с родиной. Вот именно такие простые люди, в том числе и разные небольшие начальники, все эти ермолаевы, семикины, климовы, русские и якуты, не лишенные природной



человеческой доброты, как раз и создавали то самое «почти», которое помогло уцелеть.

В этой книге среди страданий и унижений временами возникали моменты высочайшего духовного подъема. Мне хочется привести целиком один параграф из главы «Рахиль».

«...Эта часть нашего долгого пути запомнилась одним событием, которое навсегда врезалось в память. Мы стояли на палубе баржи. Солнце у края горизонта бросало слабые красновато-золотистые лучи на серый, безжизненный ландшафт с одинокими, жалкими низкорослыми деревцами. Это было печальное и угнетающее зрелище, а когда я увидела в отдалении склоны гор, покрытые снегом, не растаявшим за короткое и холодное лето, меня охватило отчаяние. Мне казалось, что это конец всего живого, конец Земли. Мы стояли, глядя на этот удручающий ландшафт, когда вдруг кто-то запел:

Пока сердце бьется в груди,  
Ты с надеждой должен идти.

Это молодые мужчины и женщины пели «Хатикву», что значит «Надежда», песню, которая теперь стала национальным гимном Израиля.

В ней поется о тысячелетней надежде евреев стать свободным народом и жить в своей стране, о неутолимой тоске по Иерусалиму и горе Сион.

Здесь будет уместно вернуться к телевизионному фильму Сэма Рахлина. В Якутске, на заброшенном еврейском кладбище он нашел могилу своей бабушки, которая умерла до его рождения. Сэм, современный международный журналист, испытал сильное желание прочесть каддиш над усопшей мученицей. По закону иудаизма, чтобы прочесть эту молитву, требуется не менее девяти участников-евреев. Таким образом, в любых условиях возникает синагога. Вместе с Сэмом были его старший брат Шнеур и сестра Гарриетта, прилетевшая из Израиля. С большим трудом удалось найти еще шестерых; один из них был с якутскими чертами.

Возвращаемся к книге. В 1956 году датское посольство сообщило Рахлиным, что вскоре им будет разрешено покинуть Советский Союз и вернуться в Данию, где их ждут родные Рахиль. С неслыханным восторгом семейство стало собираться в эту их собственную, первую за полтора десятилетия свободную дорогу. Как вдруг все затормозилось. Советские соответствующие органы вернулись к

их привычному каменному молчанию. Сначала Рахлины недоумевали: что случилось?

Интересно, что, дочитав до этого места, я сразу понял, что случилось. Осенью того года я как-то бродил по арбатским переулкам и вдруг увидел большую толпу студенческой молодежи. Она окружала одноэтажный особняк датского посольства. Над головами толпы покачивались лозунги «Позор датским прислужникам империалистов!». Несколько активистов распределяли пузырьки с чернилами. По команде этих активистов чернильницы полетели в посольство. Чистые стены украсились отвратительными пятнами. Плакатоносцы начали совать свою ношу прямо в окна. Летели осколки стекла. Интересно, что дежурный милиционер в ярости носился вдоль стены и кричал демонстрантам: «Прекратите хулиганство!» Я понял, что этой акцией советские власти отвечают на демонстрации в Копенгагене в знак протеста против казни лидера венгерской революции Имре Надя.

Рахлины прекрасно понимали, что именно венгерские события вызвали обострение отношений между двумя странами, что «оттепель» опять будет заморожена, и им не удастся пере-

сечь зловещую границу. Времена, однако, кардинально изменились, через год они получили паспорта на выезд, и юный Сэм вместо якутянина стал датчанином.

В 80-е годы я часто бывал в Дании. Копенгаген напоминал мне Ленинград, куда дорога мне как политическому изгнаннику была заказана. С Сэмом мы стали хорошими друзьями, и однажды он предложил мне устроить встречу с его родителями, Рахиль и Израэлем. С этой милейшей пожилой парой мы сидели в русском ресторанчике, они рассказывали мне о Якутии, я им — о Магадане. Тогда они сказали, что пишут книгу воспоминаний. В конце их тяжелого пути Провидение оказалось милостивым: книга, полная интересных деталей и глубоких чувств, стала исключительным бестселлером в Дании, была переведена на многие языки, в том числе и на русский. Этот перевод выходит сейчас в стране, которая сначала намерена была их погубить, а потом ненароком спасла их жизни. Иные скажут сейчас, сколько можно напоминать обо всех этих ужасах. Уверен, однако, что люди никогда не устанут читать о том, что составляет их необъяснимую историю.

# Кто был этот мальчик

Однажды, в середине 90-х, я сидел в студии популярной программы «Времечко» у Льва Новоженова и отвечал на телефонные звонки зрителей. Один звонок меня поразил самой первой фразой. «Не знаю, Вася, помнишь ли ты меня», — произнес глуховатый басок. Назвать Васей почтенного Васильпалыча, да еще в прямом эфире, — ей-ей, не слабо! «А ведь я твой одноклассник по Магаданской средней школе, Лёня Титов», — продолжил басок. «Да как же я могу тебя не помнить, Лёня!» — возопил я в ответ. «Да ведь и прошло-то с того времени всего-навсего 45 лет!» Вот вам и «Времечко»!

Я действительно сразу же вспомнил Лёню Титова. В семейных альбомах оставались еще магаданские снимки, любительские жуткого качества и несколько профессиональных коллективов, сделанных по случаю нашего выпуска 1950 года, один из них даже под сенью портрета Генералиссимуса Сталина Иосифа Виссарионовича, 1879 года рождения. На всех коллективках среди других физиономий фигурировал и Титов, худощавый мальчик с очень позитивным выражением юного лица. Почему-то запомнилось, как он обычно входил в класс, быстроногий, очень ухоженный, то есть в отглаженных брючках и свежей рубашке, уверенно, но и без всякой подростковой наглости располагался за партой, сразу вынимал из портфеля все, что надо, и сразу становилось ясно, что все уроки у него сделаны, и все ответы сошлись. В классе за несколько секунд до входа преподавателя все еще продолжалась война тяжелой мокрой тряпкой, однако Титов ее как бы не замечал. В меня один раз эта тряпка попала и размазала алгебраическую задачу, которую я торопливо сдувал в перемену. Лёню, кажется, она всегда облетала стороной.

В нашем классе было 21 мальчиков, даже если так нельзя выразиться по-русски. Ниже по коридору находился женский класс, в котором было примерно столько же девочек. Внешне все выглядели нормально, школяры как школяры, однако внутренняя структура класса отличалась от внешнего благообразия, отражая гражданскую иерархию странного города Магадана, «столицы колымского края».

Больше половины состава были детьми руководства «Дальстроя» и офицеров УСВИТЛа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей). Они жили в центре города в комфортабельных каменных домах. Одна четверть состояла из детей вольнонаемного контингента, населявшего приличные оштукатуренные дома второй категории. И наконец, там была и группа детей бывших заключенных, недавно отбывших свои сроки в лагерях. К ним относился и автор этих строк. Мы жили в завальных бараках с коридорной системой.

В принципе, под крышей школы мы все были равны: питались в одной столовой, ходили на школьные вечера, вместе занимались спортом. Насколько мне помнится, никто из офицерских

сынков не кичился своим социальным превосходством и в школярских стычках сын зэка мог спокойно дать по шее сыну охранника. За пределами школы, однако, это равенство кончалось. Никто из нас, «политических», никогда не был в гостях в «офицерских» домах. С другой стороны, никто из «них» не навещал «нас». Мы держались друг друга, Юра Маркелов, Юра Акимов, Юра Королев и я составляли своего рода группу интеллигентиков, мы слушали джаз по американскому радио, обсуждали приключенческие книги, смотрели «трофейные» фильмы и разыгрывали глупейшие костюмированные скетчи. В Магадане не было принято говорить о лагерях, но иногда эта тема проникала и в наши разговоры и повергала нас в сумрачные размышления о судьбе наших родителей.

Лёня Титов не принадлежал ни к тем ни к другим. Он был просто нормальным школьником, веселым, деловитым, спортивным. Мы были уверены, что он принадлежит к «вольнягам», к тому же он и жил в одном из домов «второй категории». И только сейчас, уже в 21 веке, когда он прислал мне свою рукопись, я узнал, что он был одним из нас, что его отец, чемпион страны



по лыжным гонкам, оказался жертвой доноса и был расстрелян, и что мать его, тоже лыжница высокого класса, отсидела пять лет как «член семьи врага народа». Выйдя на свободу, она поселилась в Магадане и — вот один из уродливых парадоксов того времени! — стала выступать на соревнованиях за лыжную команду Магадана. В их доме никогда не говорили о лагерях. Больше всего мать хотела, чтобы ее вновь обретенный сынок был таким же, как все, нормальным школьником. И он им стал. Прочтя книгу Леонида Титова, читатель поймет, что это значит быть нормальным мальчиком по соседству с кровавым сталинским Джагернаутом. И кроме того он увидит, что даже там, в городке, опоясанном колючей проволокой, шло обычное детство со всеми его маленькими и большими радостями и огорчениями.

# Наш ответ Франсуазе Саган

Мой старый друг Толя Гладилин никогда не был большим любителем мемуаров. Жизненный опыт и «сокровища, заложенные в чувстве», он берег для сочинительских часов. В последние годы он стал патриархом большого гладилинского клана в Париже, а это занятие не особенно способствует сочинительству. И все-таки нынешнее поколение российской интеллигенции не хотело с ним расставаться. Многие помнили, что это именно он в двадцатилетнем возрасте (как Франсуаза Саган в том же возрасте, в том же году, в своей *Bonjour, Tristesse!*) поднял волну новой, послесталинской литературы.

Многие издатели в Москве предлагали ему договора на мемуары. Публике было интересно, как в конце пятидесятых и далее, в течение шестидесятых, возникали тогдашние гладилинские «хиты», как шла литературная борьба, какие люди, «ребята», его окружали и вообще, что с ним было, в частности, что привело его в эмиграцию. Он отнекивался, говоря, что этот жанр ему чужд. Наконец, под влиянием Ирины Барметовой (журнал «Октябрь») и Елены Шубиной (издательство «Вагриус») «Тень всадника» сдалась и накинула узду на коновязь.

Как-то мы с ним ужинали в кафе «Персона», что на Яузской набережной. Анатолий жаловался, что не знает, как в таких сочинениях возникает композиция. «Толян, — сказал я ему, — у тебя первая книга называется «Хроника времен Виктора Подгурского», а ты все жалуешься на недостаток композиции».

«То есть дуть по порядку, одна за другой?» — задумался он. «Ну, конечно, разве могут быть у писателя вехи важнее, чем книги?»

Когда я читал недавно в журнале его труд «Попытка мемуара», я натолкнулся на одно признание автора. Он пишет что-то о том, как в

Москву раз за разом пошла наведываться Марина Влади. «Очередное отступление», — говорит он. «Любопытная мысль пришла именно сейчас, когда пишу эти строки...» Вот так и складывается композиция мемуаров: отступление наплывает на отступление, то и дело появляются любопытные мысли и расширяют картину; в частности, великолепную картину-новеллу Марины Влади. Толян уже овладел жанром и может работать с ним без конца.

# Моряк империи

Ноябрь считается самым лучшим временем в среднеатлантических штатах: солнце не жжет, но постоянно присутствует, мягко освещая пологие холмы, и вместе с прохладными бризами, будоражащими еще обильную листву titанических деревьев, создает то, что, будучи извлечено из словаря, называется «киароскуро», то есть игру света и тени; светотень. Воздух бодрящий, или, как в этих местах говорят, *crisp*, хрустящий, в нем живут одновременно и благодатная мягкость и легчайший морозец. В таком воздухе, даже и на похоронах, ощущают немое побуждение. Это желание просвечивало на лицах изрядной

толпы, собравшейся в светотени дубов, кедров и платанов у подножья тяжеловесной церкви Сент-Джеймс, сложенной в свое время из кирпича, а теперь, после многочисленных десятилетий, образующих почти два полных столетия, напоминающей багровый монолит с наплывами плюща.

За парковой оградой из витого чугуна со всех сторон подходили к церкви волнистые вольеры, где паслись лошади отменных мэрилендских кровей. Слепни, чуждые сему буколическому времени года, отсутствовали, и потому лошади без всякой нервозности шевелили хвостами и гривами, как бы намеренно создавая идиллический фон для приближающейся церемонии.

Мимо собравшейся в церковном дворе толпы четко промаршировал почетный караул американских ВМС. Восемь моряков отнюдь не повторяли друг друга ни ростом, ни видом лиц: среди команды были два высоких атлета, белый и темнокожий, три девушки, представительницы трех разных рас, два обычных белых парня и еще один удививший необычно низким даже для ацтека ростом и необычной шириной плеч, изобличавших исключительную физическую

•

силу. Все они были в парадной черной форме с нашивками разных флотских служб (позднее, на похоронах, нам объяснили, что ритуальные команды набираются с разных кораблей и базовых частей, и каждый кадровый моряк обязан уметь делать все, что положено на ритуалах, будь то похороны или, скажем, встреча какого-нибудь главы правительства), а у некоторых имелись и наградные планки (позднее, на тех же поминках ребята объясняли собравшимся вокруг дамам: эта медаль за поход в Залив, это за Сомали, а эта, мэм, строго засекречена).

Раз уж я так задержался на этой команде, следует сказать, что все свои перестроения они выполняли с отменной точностью, включая и довольно сложную процедуру сворачивания государственного флага, снятого с гроба, и вручения священного свертка вдове покойного.

Шел 2000 год от Рождества Христова. В штате Мэриленд хоронили рир-адмирала американского флота Кемпа Толли.

В нашем кругу, то есть среди друзей его русской жены Влады, его называли Никой. Он и сам так часто представлялся: «Ника, муж Вла-

дочки». В своем родовом доме в Корбет-Плейс после отставки из флота он устроился так, чтобы не забывать об авантюрной жизни под звездно-полосатым небом. В частности, переоборудовал один амбар в своего рода оперативный штаб, увешал его кортиками и лоциями дальних морей, заставил сувенирами из Китая, Японии, Филиппин, Австралии, Бирмы, Ирака и Египта. Здесь же размещалась редакция уникального журнала «Ханьпу Патруль», авторами и читателями коего были ветераны флотилии американских канонерок, где Ника еще задолго до Второй мировой войны подвизался молодым офицером военно-морской разведки. В подвале основного дома адмирал оборудовал колониальный бар с бамбуковыми шторами и экзотическими масками. Он любил костюмированные сюрпризы и порой представлял перед гостями то в виде самурая с фальшивой косой, но с настоящим мечом, то советского матросика в тельнике и в бескозырке с лентами (в этом случае всегда пел с замечательной дикостью: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!»), а однажды, когда все уже сидели за обеденным столом, из Никиных комнат спустился Адольф Гитлер с чаплинскими усиками,



косой челкой и в коричневатой гимнастерке зари движения (в этом случае исполнялись «Хорст Вессель» и «Лили Марлен», почерпнутые в Берлине 30-х, где наш герой, похоже, вербовал среди молодых наци шпионов для будущей войны).

Однажды он подарил нам с Майей книгу своих мемуаров под забавным названием «Commissars and Caviars». По-русски сохранить смешноватость можно, только преобразовав одно существительное в прилагательное; ну, скажем, «Икряные комиссары», или «Икролюбивые комиссары», или, чтобы совсем уже заморочить голову, «Икрометные комиссары».

Но дело, конечно, не в названии (оно, при всей его занятости, все-таки не отражает содержания книги), а вот именно в содержании, а также в сдержанном пафосе молодого янки периода WW2, сквозящем сквозь строки внешне невозмутимого нарратива. Быть может, это покажется странным читателю в России, но именно поколение американцев сороковых годов XX века вызывает сейчас интерес и у них на родине, и в Европе. Это поколение кажется издавека воплощением лучших черт американизма, то есть

некоей как бы особой расы, взращенной Господом специально для спасения человечества. Нынешние рыцари Белоголового орла, отягощенные доллароманией, вроде бы представляют собой лишь жалкое подобие тех отважных и наивных воителей и кормителей Европы и Океании.

Я брался за эту книгу трижды. Первый раз перелистал: там было много фотографий. С удивлением обнаружил, что военный персонал американского посольства в Москве в годы войны носил большие папахи советского генеральского образца, только не из серого, а из черного каракуля, с гербами в середине этих башен. Жаль, что я не знал этого, когда писал «Московскую сагу»: такой головной убор пришелся бы впору возлюбленному маршальши Градовой полковнику Тали-афери. Нашел я там и фотографию милейшей девушки, переводчицы посольства, нашей будущей задушевной подружки, восьмидесятилетней Влады. Вообще на этих страницах немало мелькает молодых советских особ, иные из них в мундирах своих американских ухажеров внакидку. Собственно говоря, именно с русских девушек все и началось, но об этом чуть позже.

Второй раз я взялся читать, но, как говорится, «по диагонали», просто чтобы было о чем поговорить при встрече с автором. Удивила одна из идей вступления. Русские, пишет адмирал, только кажутся белой расой, на самом деле они ею не являются. Под прикрытием белой кожи, светлых глаз и русых волос в них таятся те, с кем они усердно перемешались на своих огромных плоских пространствах: монголы, татары, всевозможные турки и закавказцы. Вот отсюда и явилась их любовь к Сталину и подобоострастие перед коммунистами. Со своей стороны, мы тут воскликнем: «Вот каковы были этнографы в резерве флота!» Хотел я было завязать с 90-летним адмиралом разговор о современных этносах, когда они останавливались у нас перед полетом в Йокогаму на открытие американо-японского центра его имени, однако тема эта лишь проскользнула в общей беседе за столом и была забыта.

Забылась и книга, куда-то запропастилась в разномастном сонмище «источников знаний» и лишь только в этом году перед окончанием моих «американских университетов» неожиданно выплыла на поверхность. Тогда я положил «Ик-

рометных комиссаров» на свой ночной столик и в течение двух недель прочел ее от начала до конца, очевидно, для того, чтобы понять метафору этой жизни, с одной стороны, вроде бы пересекающей кубистическими пластами наш псевдобелый этнос, а с другой — кристаллизирующейся в единую, отчетливую, а потому не совсем понятную нам завершенную американскую фигуру.

Повествование начинается издалека. Добрая треть страниц — это лишь приближение к основной теме, службе в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Юный выпускник Военно-морской академии в Аннаполисе в начале 30-х направляется в Китай. С какой целью там тогда околачивались американцы, я не знаю, а Ника этого не объясняет, очевидно, думая, что это каждому известно, поскольку цель была большая. Там он играл в теннис с такими девушками, каких в Аннаполисе никогда не видел. Это были изящные, милые, ловкие и очень светские особы белого цвета, хотя и загорелые. Они все по-английски говорили очень свежо и ненапыщенно, пользовались и другими языками, в том числе и своим родным, русским. Это, собственно

говоря, были девушки из русской белой эмиграции, и молодой лейтенант вознамерился войти в аристократическое общество. Командование не возражало: офицеру морской разведки не помешает русский язык. Кемп Толли начал брать уроки, благо в сэтлменте Шанхая преподавателей русского языка было в избытке.

Через некоторое время, опять же с одобрения командования, он отправляется в еще более русские края, на север, в марионеточное государство Манджу-Го, где как ни в чем не бывало, то есть на полных птичьих правах, процветает русский город Харбин, а девушки там не менее изящны и остроумны и не меньше любят родную литературу, чем девушки Шанхая.

Я немало встречал в Америке людей, которые вот так понемногу, начав заниматься чем-то русским, втягивались с ушами, на всю жизнь. Что-то как-то чрезвычайно поражает сдержанных янки в русских людях (имеется в виду, конечно, интеллигенция), может быть, какая-то необычайная эмоциональность на грани того, что именуется «душевным трепетом»; что-то вроде этого, в общем несдержанность. Ну и, конечно, все эти Толстые, Достоевские, Чеховы, ну а уж если и до

Пушкиных дойдет, считай, что обратного хода нет. Таким оказался и лейтенант флота Кемп Толли, «Ника».

Начав с эмигрантских девушек, он в конечном счете пересек основную границу и по Транссибирскому пути углубился в страну большевиков. Описывая свои путешествия тридцатых годов, он не очень отчетливо указывает их смысл; впрочем, чего вы еще ждете от офицера разведки?

На самолетах тогда, как сейчас, не летали, и все эти огромные пространства офицер Толли пересекал по железным дорогам. После СССР побывал он и в Третьем рейхе, в столице которого познакомился с молодыми тевтонами, безупречными в расовом отношении мерзавцами; так он их, во всяком случае, характеризует. Было ясно, что эти служащие имперских канцелярий готовятся к каким-то значительным событиям. Совершенно непонятно, почему после Германии он оказался в Прибалтике, и в частности в Риге, где вновь с восторгом присоединился к обществу русских светских девушек, в котором продолжал улучшать свой русский язык и знакомство с национальными характерами. По завершении

этой почти фантастической миссии Кемп был отправлен обратно в Китай, к своим канонеркам на реке Ханьпу. Не знаю, знаком ли он был тогда с антиимпериалистическим выражением «политика канонерок»; в книге, во всяком случае, он его не употребляет.

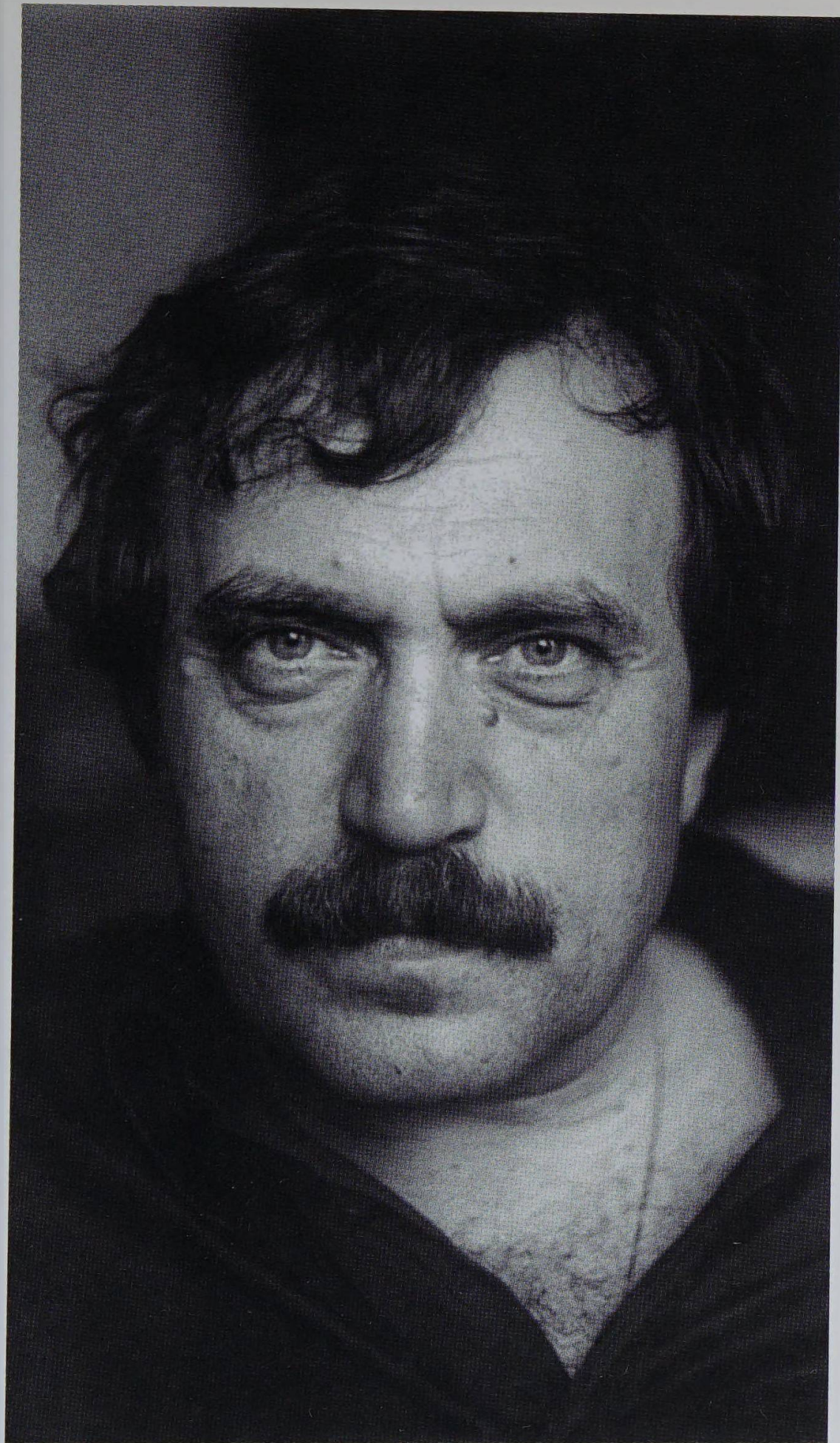
В Европе мировая война еще проходила через свои судетские и австрийские репетиции, а в Азии японская стоголовая дракониха уже играла вовсю. Офицер Толли был отправлен на небольшом и вроде бы даже невоенном суденышке в многомесячное плавание по Филиппинскому и Индонезийскому архипелагам. Об этом разведывательном предприятии адмирал в отставке написал отдельную книгу, но я ее пока что не читал. В «Икрометных комиссарах» он лишь вскользь и в полушутливой форме упоминает, как они играли в кошки-мышки с охотившимися за ними японцами. Эта, быть может, самая опасная в его жизни эпопея закончилась благополучно в дружественной Австралии.

К тому времени война в Европе шла полным ходом. Поделив со Сталиным Восточную Европу и разгромив Францию, Гитлер вероломно вторгся

в Советский Союз. На этом фоне Кемп получает новое назначение помощником военно-морского атташе в Москву. В Австралии, увы, не нашлось для него подходящего американского морского мундира, а в шортах и в майке ехать в Москву было как-то, ну скажем, недипломатично. В каком-то приморском баре Кемп рассказал «оссиз» об этой проблеме и ему нашли подходящий китель, правда не морской, а кавалерийский. Этот китель, очевидно, с большими накладными карманами, Ника упоминает не менее полдюжины раз; он явно им гордился. Ну, в общем, Белый дом сказал нам «надо», Пентагон ответил «есть»! Снялись с якоря и отправились. В буквальном смысле, господа, в буквальном! Самолетов помощникам атташе не предоставляли, рейсовых не было. Австралия, как известно, со всех сторон окружена водой. Значит — плыть! Плыть на чем дают. В кавалерийском мундире. Плыть в сторону Персии, там — наши!

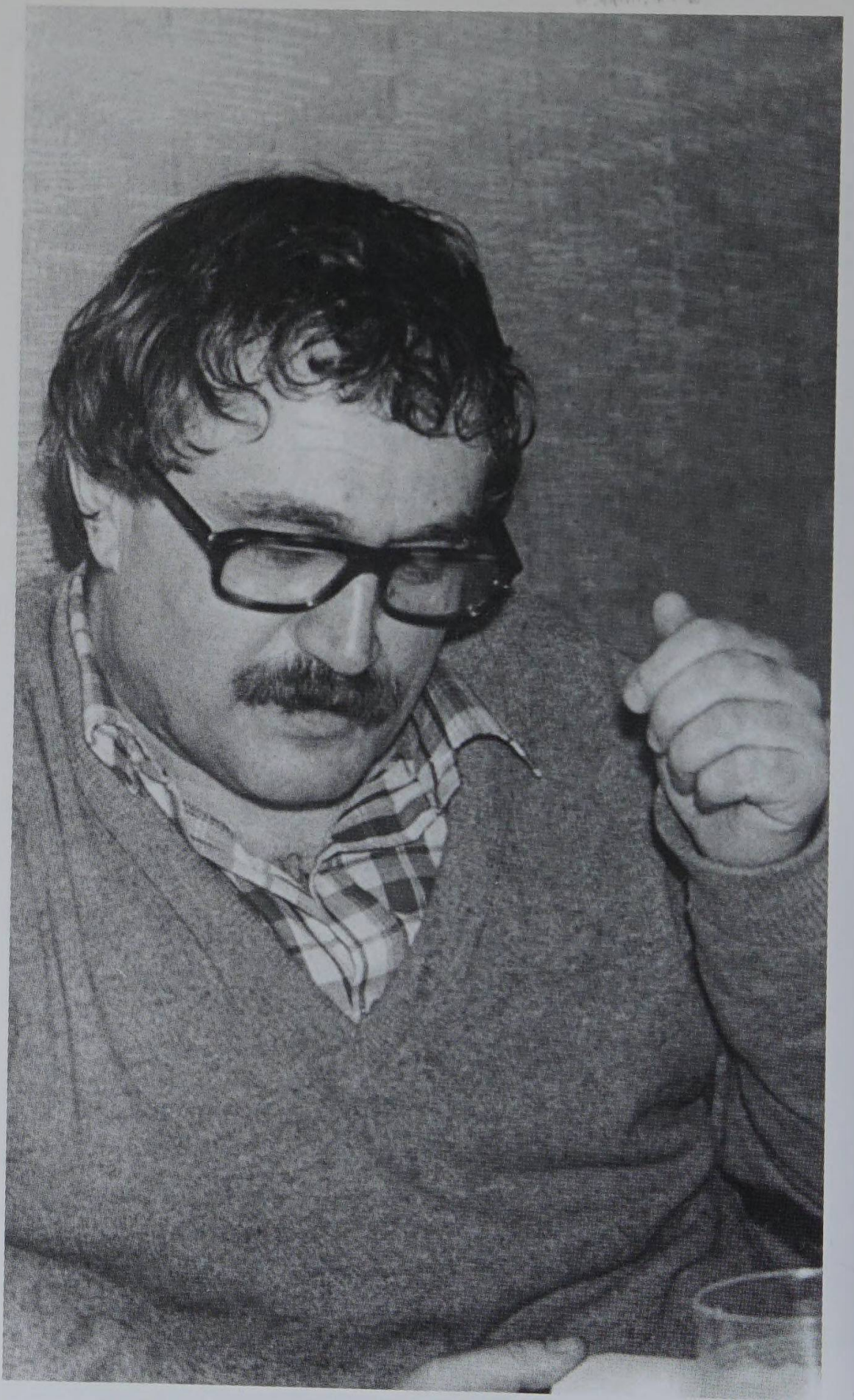
Плыли долго. Индийский океан не мал и не прост. Пока плыли, Гитлер почти разбил Сталина и подошел к Москве. В Тегеране получили маршрут: летишь не в Москву, а в Куйбышев. Там уже курсировали транспортные «дугласы».





Василий Аксенов. 1980





Читка на квартире у друзей



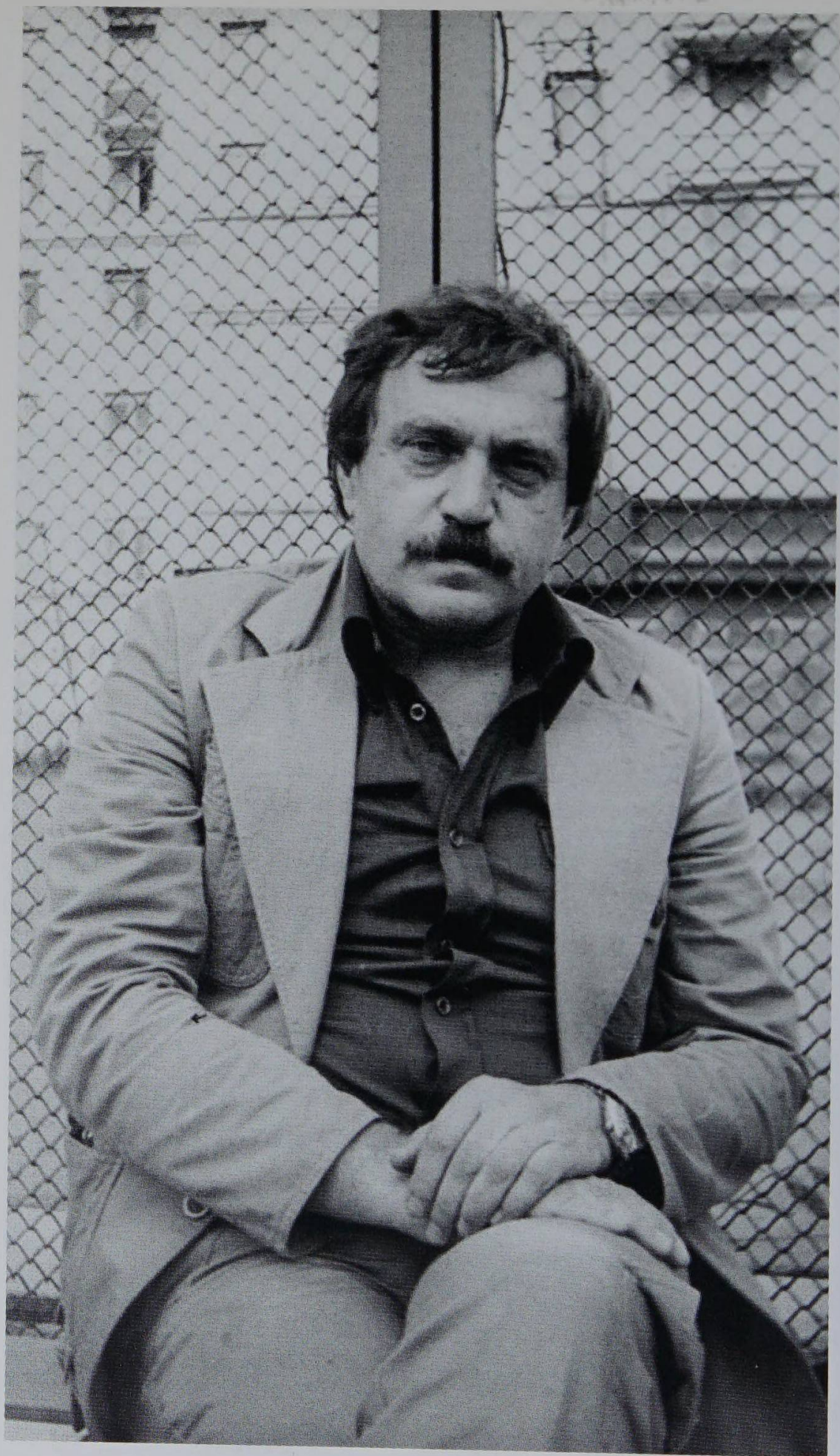


Друзья и авторы «Метрополя». Слева направо: Фридрих Горенштейн, Евгений Попов, Виктор Тростников, Андрей Битов



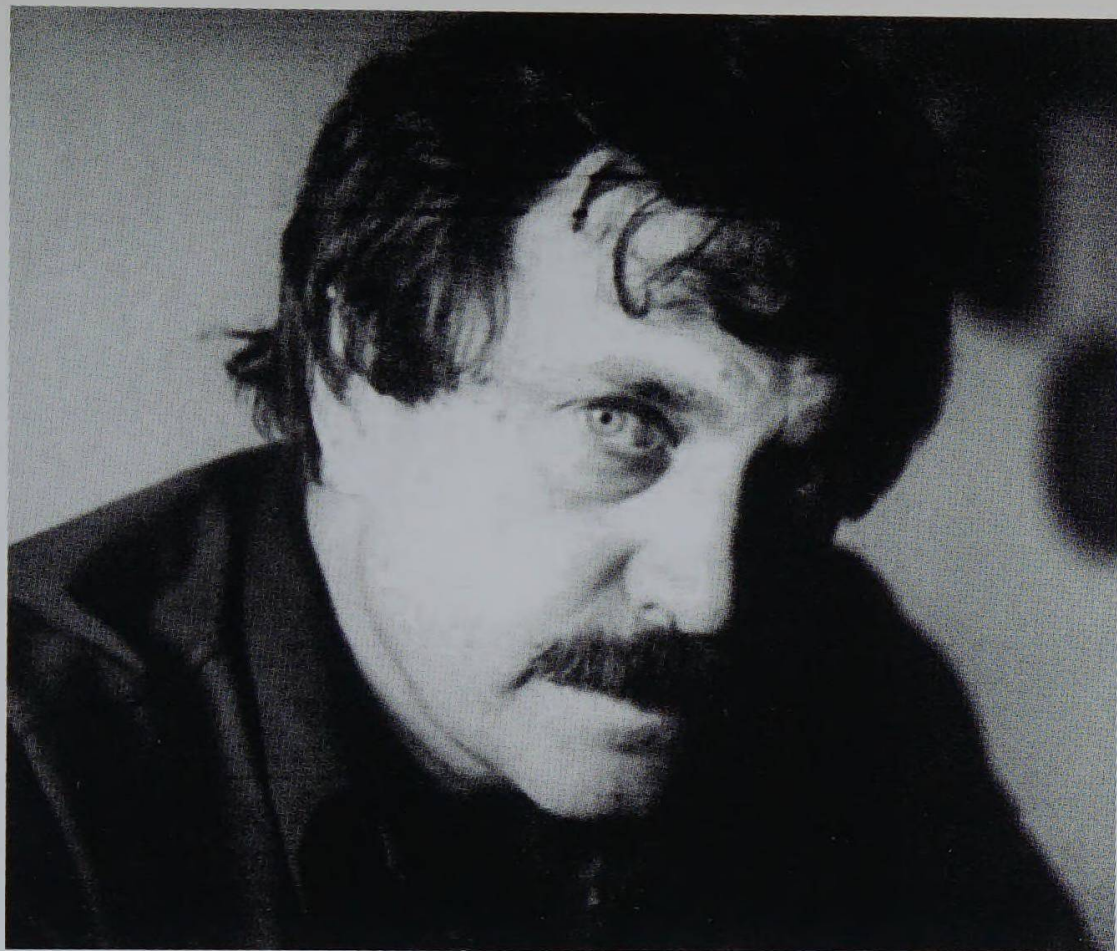
В далекой теперь «Синей птице». Слева направо: Ляля Козлова, Александр Кабаков, Василий Аксенов, Алексей Козлов



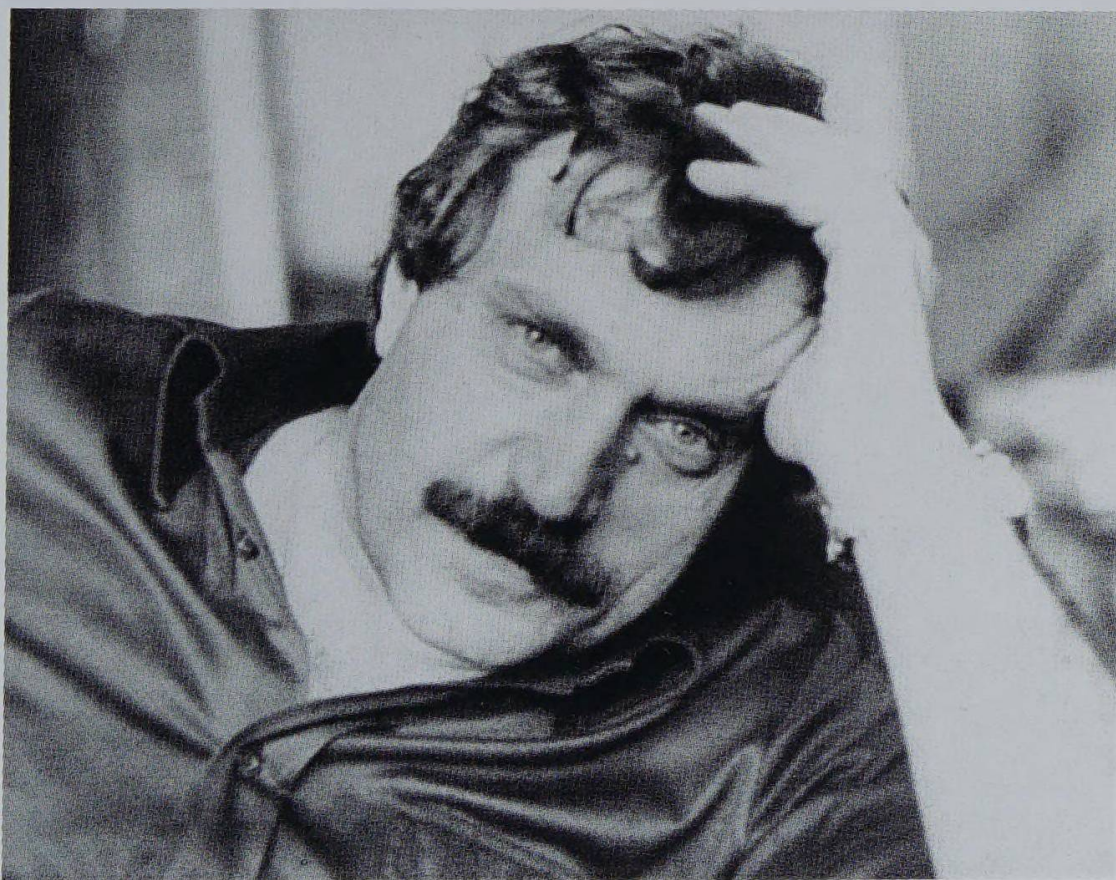


На Котельнической набережной. 1980





В тот же год...





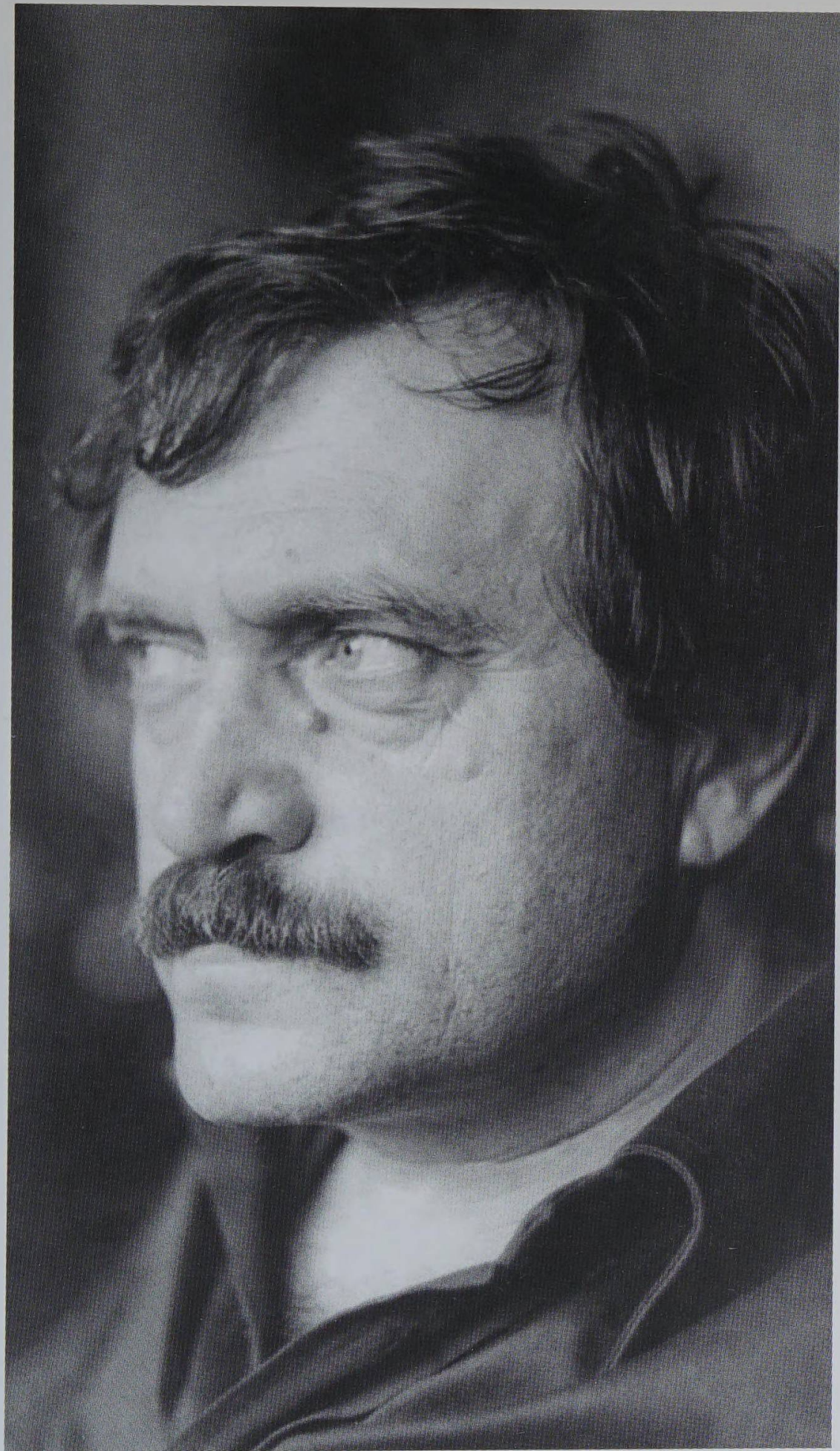


С Евгением Поповым



Перед отъездом на чужбину

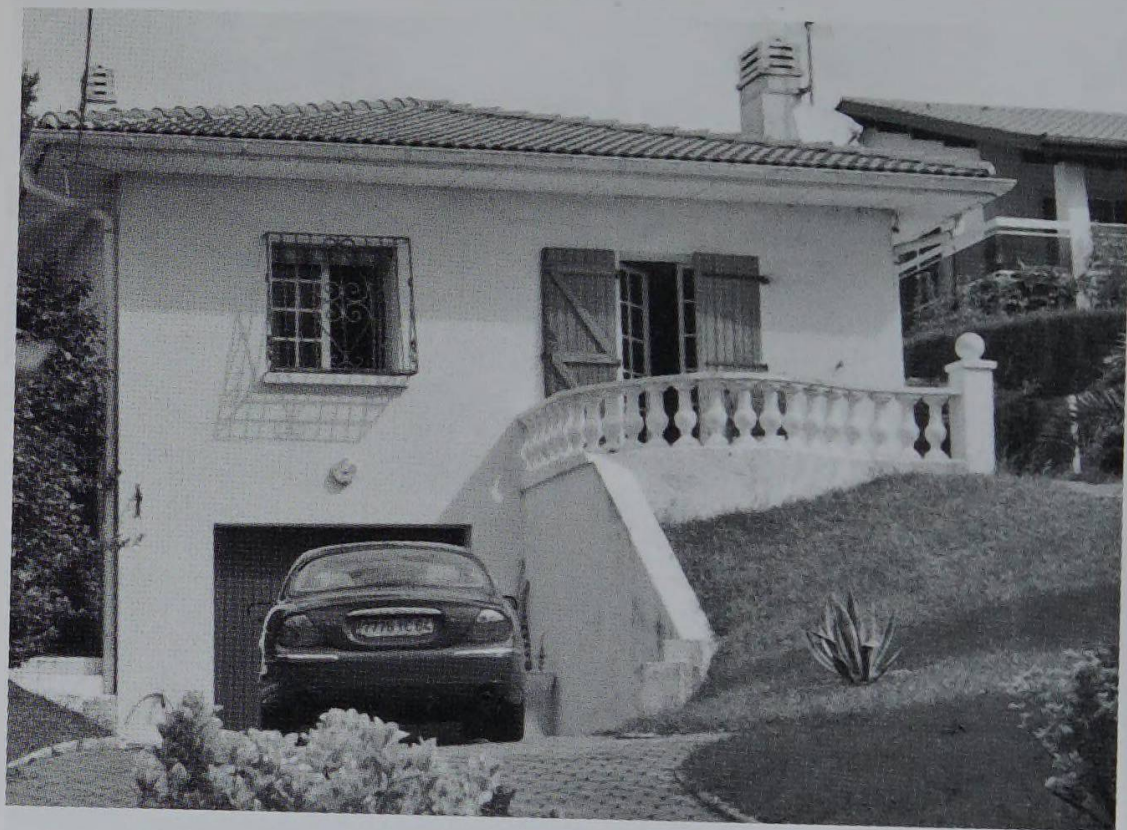




6 июня 1980



## БИАРРИЦ



Вилла в Биаррице



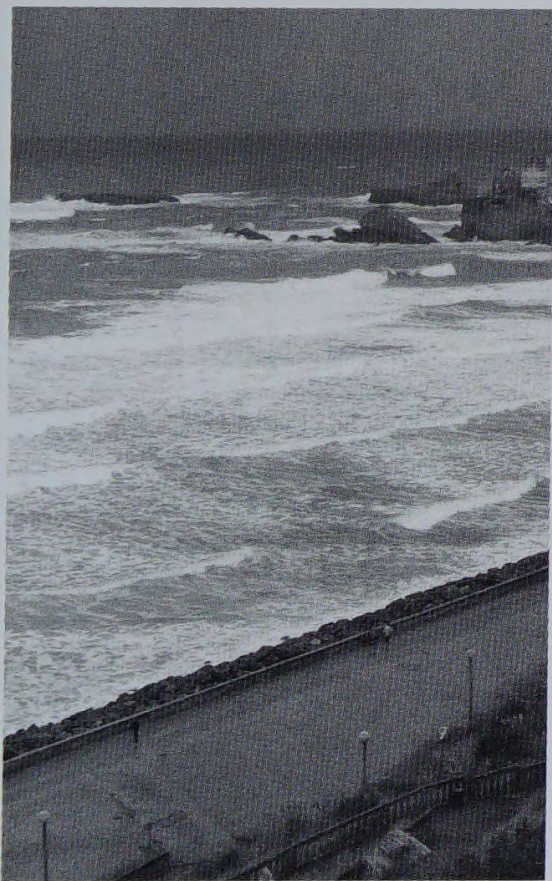
Кабинет писателя



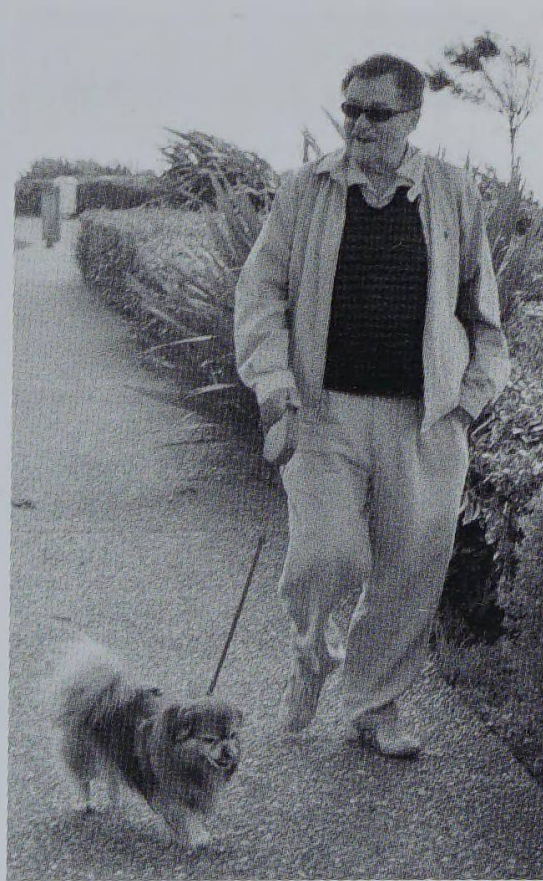
# БИАРРИЦ



Тамарисковая роща



Вид с набережной на океан



На прогулке с Пушкиным





В Эритрейском костюме





Садовод-любитель





Презентация книги «Редкие земли»

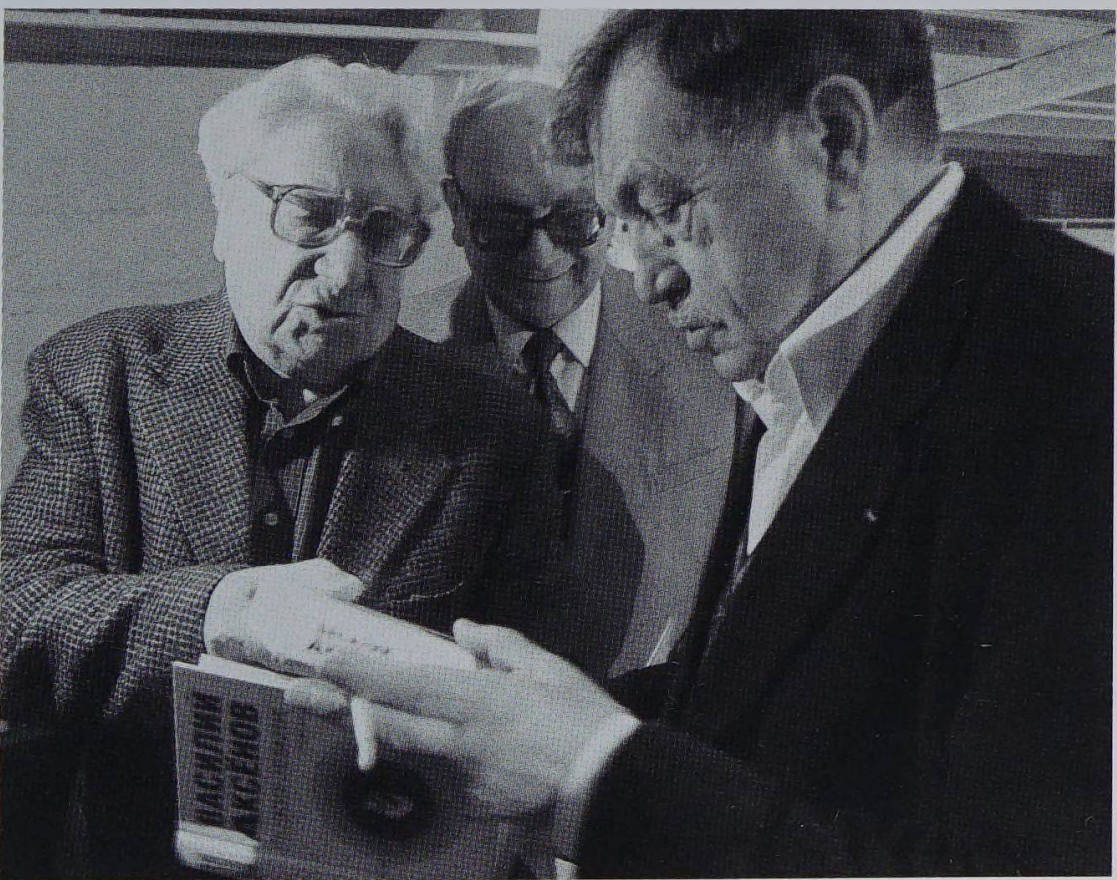


С Виктором Есиповым и Ириной Барметовой





С Ирой Барметовой



С Бенедиктом Сарновым





Дома в Москве



С сыном Алексеем и Виктором Есиповым



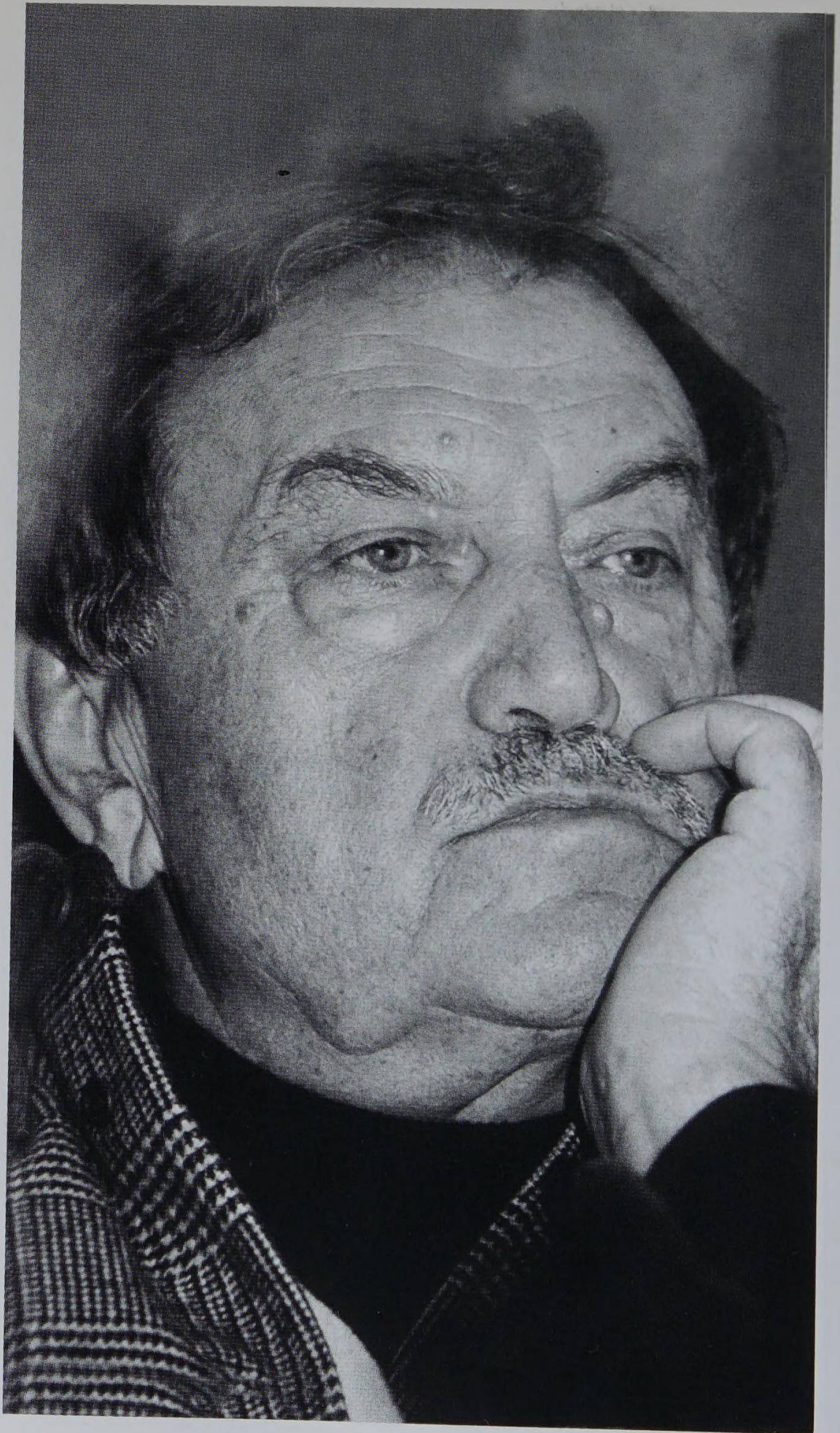


Вашингтон. С Галей Балтер. Начало 90-х



На фоне храма Василия Блаженного





2006



В Баку Кемп Толли получил первый советский завтрак, пиалу вареных слив. Это его ошеломило. В Сталинграде, впрочем, на аэродроме подали нормальный завтрак, если только это не был ужин. Здесь, собственно говоря, впервые на сцене появляется икра, которая затем постоянно украшает советские «сакуски», сервируемые для американцев, несмотря на трудности военного времени.

Средний американец, между прочим, не принадлежит к поклонникам икры. Многие даже испытывают к ней некоторую брезгливость: «рыбьи яйца», нет, нет, увольте! Наш Ника, однако, при своем космополитическом опыте не был средним, а русские аристократы знали толк в этом аппетитном афродизиаке.

Куйбышев, как известно, в первый год войны был «запасной столицей». Туда при приближении Гудериана драпанули правительство и иностранные посольства. Именно в этом городище, растянувшемся на многие мили вдоль Волги, завершилась огромная океанская одиссея будущего адмирала. Здесь он впервые получил свой «деск» и телефон. Здесь же произошла самая главная встреча его жизни.

Через день или два после прибытия, на улице возле посольства он увидел стройную девушку в красном свитере. Коллега познакомил Кемпа и переводчицу Владу. Моряк был поражен: что за девушка в советском Куйбышеве, а как говорит по-английски, такой свежести и изяществу позавидовали бы и красотки Харбина! Интересно отметить, что в своей книге адмирал не очень подробно повествует о том, как развивались их отношения, и совсем не упоминает того, что свой английский девушка приобрела в Лондоне, где много лет работал ее отец, советский специалист по международному праву. Ссылаясь уже на саму Владочку, хочу сказать, что к моменту встречи ее отец уже несколько лет пребывал в лагерях, куда доблестные чекисты его запихнули немедленно по возвращении из Лондона. Интересно отметить, как с началом войны, то есть во время тотального кризиса советской системы, изменились нравы НКВД, дочь «врага народа» была допущена переводчицей в американское посольство. Видимо, очень сильная система испытывала дефицит английского для общения с союзниками.

Основная и, в общем, поистине гигантская часть этих общений укладывается в два од-

но сложных слова через черточку: lend-lease. Морской отдел посольства был в самом центре ленд-лиза, потому что грандиозная помощь шла по морям, наспигованным нацистскими подлодками.

Толли как молодого офицера то и дело направляли из Куйбышева, а потом и из спасенной Москвы в отдаленные приморские края, включая и близкий его сердцу Дальний Восток. Основным направлением все же оставался Север, Архангельск и Мурманск, куда в обход оккупированной Норвегии добирались союзные конвои. Добиралось, как известно, чуть больше 50% транспортов, из них большая часть с пробоинами и искалеченным экипажем. Нужно было организовывать починку судов и лечение раненых, выяснять потребности советских ВМС, передавать им боевые корабли и снаряжение. Несмотря на все старания бесчисленных особистов изолировать американцев от жизни страны, перед Толли открывались картины чудовищных страданий и убожеств. Он довольно отчетливо описывает окостеневшие от холода толпы рабочих на причалах и лесопилках Северной Двины, где трудно было отличить заключенных от мобилизованных.

Так перед ним открывалась вечная полуагония псевдобелой советской людской массы.

Однажды в Комсомольске-на-Амуре, где они инспектировали завод подводных лодок, на улице за ним помчались закутанные в непотребное тряпье мальчишки. «Фриц! — кричали они. — Смотрите, фриц идет!» Молодцеватый американский моряк так мало походил на советских, что его приняли за врага.

Пентагон вообще-то скуповат на повышения в чинах, однако по каким-то дипломатическим соображениям Кемп Толли до срока стал коммодором. Не исключено, что он был самым молодым коммодором по обе стороны Атлантики.

На молодых всегда сваливают всякую внеурочную работу, вот и он однажды припозднился в резиденции посла, именуемой Спасо-Хаус, возился с новым шифровальным устройством. Собравшись домой, он спустился в Большой Холл и увидел там толпу военных и штатских, которые активно закусывали и выпивали, стоя вокруг щедро накрытого стола. Сообразив, что ночью прибыла какая-то союзническая миссия,

он тут же к ней присоединился, чтобы, как нынче говорят, «прогуляться на халяву».

Рядом с ним закусывал высокий англичанин с дополнительным признаком англичанства, отменно подстриженными усиками. Толли и сам был-с-усам и предложил тост:

«Давайте выпьем за клуб усатых: лорд Китчинер, Сталин, Гитлер, вы и я, идет?»

«Хорошая идея, коммодор», — сказал высокий.

«Зови меня Кемп», — предложил наш герой.

«А меня зовут Тони», — сказал новый друг. Это оказался не кто иной, как министр иностранных дел Великобритании Энтони Идеи.

В Москве даже и при «затемнениях» существовала светская жизнь. Центром ее для дипломатов был Большой театр. Все с удовольствием туда съезжались, стараясь забыть войну, темные улицы, сирены воздушных тревог.

Увы, кроме волшебства больших балетов и опер, в театре происходила и довольно мерзкая деятельность советской секретной службы. В антрактах дипломатов без околичностей знакомили с хорошенькими женщинами, кагэ-

бэшной агентурой. Кемпу, нашему дамскому угоднику, было, очевидно, нелегко удержаться от соблазнов, однако подобные встречи всякий раз еще больше утверждали его во мнении, что он живет в уродливой растленной стране. Пробраться к людям, которые в то же время совершали вооруженный подвиг, защищая свою страну от нацистов, было невозможно: дипломатов не допускали к театру боевых действий. Редкие встречи с фронтовиками несли в себе двусмысленность, порожденную тотальной слежкой. Однажды во время театрального разезда к Толли и двум его друзьям подошел подвыпивший советский майор. Он стал расхваливать американцев, благодарить их за помощь, за джипы «виллисы», грузовики «студебеккеры», танки «шерманы», самолеты «дугласы» и «кобры», без которых на фронте пришлось бы туго.

Это было так неожиданно, что американцы не удержались и пригласили славного парня к себе в посольство. Тот с хохотом согласился. Они припрятали его в машине и провезли внутрь незаметно от милицейской стражи. Майор никогда прежде не встречался с иностранцами, тем более никогда не помышлял оказаться в американском

посольстве. Сначала он восхищался всем, что увидел в квартире молодого коммодора: батареей замечательных крепких напитков, глянцевыми журналами «Лайф» и «Тайм», проигрывателем, в который одновременно загружалась дюжина долгоиграющих джазовых пластинок и т. д. Потом после очередного скотча или джина произошел перелом. Майор вдруг стал почти истерически кричать, что американцы буржуи, такие же империалисты, как немцы, что мы, русские, еще вам покажем, вначале немцам, а потом американцам, таким вот, как вы, красавчикам-американчикам, если засранцы-американцы, у которых в жопе пальцы, с дороги, руки прочь от Красной армии гудбай, вглоттебягуляй! И ушел сам по себе. Было видно в окно, как прошел мимо сторожевой будки и исчез в ночи. Что с ним стало? Арестован? Расстрелян? Ушел от органов? Скрылся неведом? Проспали органы? А может быть, он и сам из органов? Тогда почему так распсиховался? Может быть, вдруг понял, какой опасности себя подвергает, рассевшись тут на таком невиданном американском диване, разглагольствуя о единстве с «товарищами по оружию», восхищаясь журнальчиками и пластинками, когда тут лучшие слухачи

ГБ небось работают и записи прямо Берии на стол кладут. А может быть, он в ярость пришел, подумав, что вот для американцев вся эта роскошь привычна, а он, майор, ничего подобного в жизни не видел, да и не увидит больше никогда, и вот они сидят, такие холеные, чистые, высокомерные, такие представители какой-то высшей культуры, а он тут дрожит от страха, как на фронте никогда не дрожал, под пулей, задавленный мизерный русак, что только от водки оживает, человеком становится?

Подобных психологических русских загадок предстало немало перед коммодором Толли за те годы, что он провел в СССР. Не раз он испытывал пронзительное сострадание к людям этой неполноценно-белой расы, выбравшей для проживания необозримые поля непостижимой страны. Он стал внимательнее присматриваться к этим людям и был рад найти даже и среди них черты достоинства и сдержанности. В этом ключе он не раз упоминает главкома Северного флота адмирала Головки и его окружение. Эти были мало похожи на «икрометных комиссаров», хотя сами не упускали случая устроить щедрое застолье для «товарищей по оружию».



Вспоминая трагический провал совместного «челночного проекта», когда немцам за одну ночь удалось уничтожить 50 американских бомбардировщиков на аэродроме возле Полтавы, адмирал цитирует генерала Дина:

«Начиная с Новикова, Никитина и всего штаба ВВС и кончая женщинами, которые укладывали стальные маты для наших взлетно-посадочных полос, мы встречали только дух дружбы и сотрудничества. Мы вместе жили, работали, веселились, и только сверху, из Генштаба, НКВД, МИДа и от партийных лидеров, ближайших советников Сталина доходило до нас желание саботировать то, что с такой неохотой было одобрено».

Вот вам урок по русской психологии и путеводитель на будущее, продолжает адмирал. Даже метеорологический обмен, над которым вместе работали капитан Нолл и генерал-лейтенант Федоров, очень приятный парень, склонный к сотрудничеству, был обречен на выброс намеренной волокитой и прямыми препятствиями сверху.

Между тем приближалось самое важное событие его жизни. Будучи друзьями этой семьи, мы

об этом событии слышали часто и от Владочки, и от Ники, и от них вместе, так что я рассчитывал и в книге найти его подробное описание. Автор, однако, оказался скуп на подробности. Такого-то числа, пишет он, мы с Владой подали заявление в московский ЗАКС. Хочешь — не хочешь, но, употребив неверную букву в этой аббревиатуре, автор породнил ее с много раз употребленным словом «сакуски». На самом деле все эти закуски для Влады могли легко превратиться в баланду, а ЗАГС — в ГУЛАГ.

Кто знает, какие соображения появились в шакальем ведомстве в те дни, когда исход войны стал ясен. Во всяком случае, молодым переводчикам приказали закругляться. Среди них был, между прочим, Владин однокурсник и друг по имени Артур Аксенов. Вскоре он был арестован и провел большой срок в лагерях.

Влада, получив шакалий приказ, успела проскочить в посольство, в квартиру возлюбленного. «Что с тобой?» — спросил коммодор. «Нам нужно попрощаться, — пролепетала она. — Ты понимаешь... мне сказали... больше сюда не ходить...» Минута или две ушли у коммодора на размышление. Затем он пригладил усыки,

взял в зубы трубку и надел фуражку с гербом США: «Идем в ЗАКС!» За кадром — сильный взлет драматической музыки.

Существует какая-то смутная статистика, согласно которой несколько тысяч советских девушек, подруг западных военных, в том числе кинозвезда Зоя Федорова, к концу войны были отправлены в лагеря. Владочке, как и немногим другим, повезло увильнуть от шакалей хватки, она оказалась под прямой защитой посольства, да к тому же немалые лица, по слухам, были вовлечены в любовную историю коммодора Толли: посол Гарриман и его жена Кэтлин, миссис Рузвельт, сенатор Пеппер, а может быть, и ночной собутыльник по имени Тони.

В июне 1944 года коммодор Толли получил назначение штурманом на боевой корабль и покинул Москву. Предстояла далекая дорога на западное побережье Америки, где готовился к выходу в море быстроходный линкор «Северная Каролина». Завершающие страницы книги «Комиссары и кавиары» освещают весь прочитанный текст каким-то необычным, глубоко эмоциональным смыслом.

Первая остановка — Тегеран. За эти годы летаргический город превратился в бурлящую базу союзников. В СССР, пишет он, мы все уже привыкли к суровой и унылой жизни, забыли о Внешнем Море. В Тегеране ему показалось, что он вылез из темного, затянутого паутиной погреба прямо в мир чистого солнца, где птицы поют, цветы цветут, а люди болтают друг с другом на улицах. Первый раз с тех пор он живет в настоящем отеле, сидит в настоящем баре и видит вокруг множество американских медсестер в шикарной форме, смеющихся и охотно танцующих со всеми, кто приглашает, с офицерами из командного центра Персидского залива, с летчиками и с транзитниками, вроде самого коммодора Толли. За эти годы он ни разу не ел ни апельсина, ни банана, ни разу не выходил из зоны надзора НКВД. К черту войну! Могу себе позволить отдых!

Я вообще-то не сентиментальный тип, пишет он, но тут, в ту первую ночь в отеле меня охватило какое-то особое приподнятое, ранее неведомое мне чувство. Что это было? Он не мог понять. Может быть, запах вызвал это чувство, американский запах, смесь женской парфюмерии с сигаретами «Кэмел» и «Лаки Страйк», вместе с гулом амери-

канских голосов. «Боже мой! Да ведь это же Америка! Это то, что я ЛЮБЛЮ! Только дважды в жизни я испытал такое ошеломляющее чувство».

Первый раз это случилось с ним на борту крейсера «Хьюстон», отшвартованного в Шанхае на реку Ханьпу. Из-за поворота реки появился и пошел вдоль долгой линии иностранных торговых судов явившийся из океана большой старый военный транспорт «Henderson». На фоне грязного свинцового китайского неба трепетали его сверхразмерные ярчайшие флаги. Когда он (по-английски вообще-то корабль, каким бы большим и страшным он ни был, называют «она») едва ли не вплотную стал проходить мимо «Хьюстона», на борту крейсера прозвучал пронзительный сигнал горна: «Смирно! Приветствовать под козырек!» Оркестр заиграл «Звездное знамя». Это была ошеломляющая манифестация Америки. Все палубы «Хендерсона» были забиты морпехами, пополнением для 4-го полка, гордости Шанхая. Да, вот именно тогда я первый раз это почувствовал, вспоминает адмирал.

Второй раз это случилось в Маниле, на церемониальном военном балу в огромном кабаре Санта-Ана. Зал, величиной с половину футбольного поля,

сверкал китайскими фонарями. Двести офицеров подразделения «Филиппинские скауты» в белых мундирах и черных брюках с разноцветными лампасами (пехота с синими, кавалерия с желтыми, артиллерия с красными) и их дамы в длинных испанских платьях с буфами на рукавах исполняли массовую кадрили, в то время как оркестр играл попури, своего рода музыкальную бурю под сводчатым потолком. Толли смотрел на этот танец с балкона и сердце его воспаряло. «Вот она, наша империя! — думал или, вернее, чувствовал он. — Могучая, неудержимая Американская империя!»

Неподалеку от могилы адмирала уже несколько лет назад упокоена была его дочь Нина. Трагическая нелепость оборвала жизнь 40-летней женщины, матери трех прелестных девочек. Узнав о несчастье, он лег тогда лицом к стене и долго не вставал. «Никочка, что ты так лежишь?» — спросила Владочка. «Я скорблю», — ответил он и долго еще продолжал лежать.

Священник из церкви, которую построил для этих мест прапрадед Толли вместе с соседями-фермерами, читает над его телом заупокойную

молитву. «Eternal rest grant to him, o, Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul and all the souls of the faithfully departed rest in peace...» В толпе иные шепчут вслед за ним. Иные сосредоточенно молчат. Третьи обмениваются умиротворенными взглядами и мягко улыбаются, как будто улыбкой этой обращаются к ушедшему, как будто говоря: мы все уйдем за тобой, добрый Толли, мы все уйдем друг за другом, и все пойдут друг за другом, те, кто за нами.

Здесь собрались только те, кому здесь должно было быть: шестеро внушек, родственники и друзья, соседи по графству и прихожане церкви, несколько стариков, служивших когда-то под началом сначала commodore, а потом и адмирала Толли, офицеры современного флота и Военно-морской академии в Аннаполисе, люди академической компьютини из университетов Гаучер и Джонс Хопкинс, с которыми семья Толли была связана в течение долгих лет. Порой могло показаться, что сам адмирал Толли стоит среди людей, по нему скорбящих. А вокруг лежали голубоватые холмы, по которым, словно в унисон с общим умиротворением, медленно прогуливались вальяжные меэрилендские лошади.

Я подумал, что впервые оказался в истинной сердцевине страны, что дала мне приют после изгнания с родины. Так или иначе, но именно такие тесные собрания лиц, преимущественно продолговатых, с высокими лбами, с твердыми подбородками, провожающие в последний путь основного старика округа, являются всякий раз сердцевиной того, что он подразумевал под словом Империя.

Я как русский, быть может, вообще не понимаю этого слова. Пока я рос, это слово никогда не употреблялось по отношению к Советскому Союзу. Я только лишь ощущал себя во власти чего-то столь же мрачного, сколь непреодолимого. Когда я вырос и осмелился размышлять, то понял, что живу в подлой и коварной социалистической империи, почти адекватной тюрьме.

Восторг, который испытывал Кемп Толли в иные минуты от ощущения принадлежности к Американской империи, связан с солнцем и ветром на мировых просторах, с запахом виргинского табака и женской парфюмерии, с парящими флагами и всегда с музыкой, будь то военный оркестр или танцевальный биг-бэнд.

Мои восторги, солнце и ветер, и запах виргинского табака, и женская прелесть так или



иначе были прорывами из уз империи. Для адмирала Толли империя соединялась с понятием всеобщей свободы. Для меня свобода возникала при распаде империи. Увы, в той и в другой концепции, как это то и дело бывает на загадочном «пути Адама», возникают тупиковые противоречия. Вдохновенный империализм Толли так или иначе неотрывно связан с перемещениями, сближениями и разъединениями гигантских стальных тел, с крейсерами и авианосцами, с мобильными армадами страны свободы, так далеко уходящими от маленького холма в Мэриленде, да и вообще с гигантоманией и другими бесчисленными парадоксами этой страны.

Неизвестно откуда взявшийся долговязый офицер начинает отдавать лающие команды. Почетный караул совершает последнее перестроение, поднимает короткие карабины. После долгих странствий Нику опускают в его любимую землю. Троекратный салют. Церемония завершена.

# Трали-вали и гений

В начале года я нашел в своей почте пакет из Санкт-Петербурга. В нем оказался восьмисотстраничный том сочинений Юрия Казакова, изданный «Азбукой-классикой». Петербурженка Ирина Киселева, приславшая мне этот исключительный дар, в трогательной диагональной надписи писала, что шлет мне эту книгу «на память о друге». Я начал читать все то, что уже читал в те старые годы вроссыпь, в различных журнальных публикациях, и уже не мог оторваться от этих тридцати рассказов, тринадцати текстов «Северного дневника» и еще одной чертовой дюжины фрагментов, и не только потому, что все это

относится к вершинам российской словесности, но и потому, что за всей этой прозой видел Юру, литературного кореша, с которым часто выпивали, нередко и бузили, несли смешной вздор и говорили о серьезном. Эффект присутствия рано умершего автора был сравним только с выдающимся фильмом Аркадия Кордона «Послушай, не идет ли дождь», в котором замечательный артист Петренко возродил Юрия Казакова.

Нельзя переоценить своевременность этого издания посреди моря разливанного литературной халтуры. Для возникновения нового поколения творческих читателей нужно постоянно напоминать о мастерах пятидесятых и шестидесятых, среди которых едва ли не первым был Казаков. Вот почему я посвящаю ему сейчас несколько небольших эссе.

## ПО СЛУХУ И НЮХУ

Среди различных признаков гениальности есть несколько довольно курьезных. Считается, например, что гения отличает гипертрофированное обоняние. Те, кто знал писателя Юрия

Казакова, в этом никогда не усомнятся. У него нет ни одной прозы, в которую не влез бы его большой, с чуткими закрыльями нос.

Он помнит запах книг, по которым он, как ни странно, учился охотничьему ремеслу, помнит носом все, где побывал: на пристани пахнет рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой, в незнакомую комнату какую-нибудь зайдет и тут же отмечает, что пахнет пылью, аптекой и старыми обоями, в принципе «каждая вещь — пахнет!»

Интересно, как он соединяет обоняние с другими чувствами; вот две цитаты: «...запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе...»; «...каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды...»

Пахнут не только органические вещества, пахнут металлы, механизмы: «...возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом...»; «...в сторожке пахнет бензином, дорогой, сапогами...»

Герой осенней ночью в дубовых лесах встречает любимую, приехавшую с Севера.

Он говорит ей: «Понюхай, как пахнет!» Она отвечает: «Пахнет вином». Он уточняет: «Это листья». Почти в каждом рассказе вы найдете перечисление остро пахнущих вещей. Матросы рыболовного траулера («На Мурманской банке», 1962) переглядываются: повсюду бродит носатый писатель, нюхает: «...пахло рыбой, смолой, водорослями, солью...» Если все пахнет, то пахнут и минералы. Крым, где маются в отпуске северные моряки, «пахнет так южно и древне» («Проклятый Север», 1964).

В 1964 году одна богемная компания в составе Ежова, Данелия, Казакова, Конечского и автора этих строк начала писать киносценарий по «итальянскому методу», то есть впятером. Юра однажды всех удивил, сказав, что он уже написал первый эпизод. Там на пять страниц шли описания свежесколотенного причала для лодок вкупе со всевозможными запахами заболоченного озера, сосновых досок, лодок, собак, ружей, сапог, словом, всего фирменного букета. Данелия сказал, что кино не передает запахов, поэтому и в сценарии они не нужны. Казаков обиделся. «Без описания запахов актер не поймет, что

играть, а режиссер, дорогой Гия, не сможет правильно снять эпизод».

Вспоминая его сейчас, мне кажется, что он всегда как бы принюхивался, и даже речь его перемежалась легким фырканием носа. Непосредственно с темой обоняния связан его абсолютный шедевр «Арктур, гончий пес» (1957). Это история породистого охотничьего пса, чьи глаза с рождения были забиты бельмами. Он не знал зрения и жил только с помощью слуха и нюха. В рассказе он появился с обрывком веревки на шее. Таскаясь по помойкам и дворам, он приبلудился к дому одинокого доктора. Тот вымыл его с мылом, протер мочалкой и просушил полотенцами. Пес полюбил запах этого человека, его звуковой контур и прикосновения его рук. Доктор оставил его в своем доме, надел на него ошейник с медной бляхой и дал ему имя одинокой голубой звезды — Арктур. Пес мог бы мирно жить в доме доктора, если бы поблизости не было леса. Именно там, в лесу, с ним случилось то, что придало всей его жизни «возвышенный и героический смысл». Там он учуял дичь, понял свое призвание и начал свой вдохновенный «гон», невзирая — да и взирать

ему было нечем — на бесчисленные невидимые препятствия, раздирающие шкуру.

Автор, снимавший комнату в доме доктора, часто бывал в лесу вместе с Арктуром. Он жалел его, обращался к нему с монологами: «Ах, Арктур, бедный ты пес... не знаешь ты, что вокруг нас полно цветов...» и восхищался псом, когда тот с восторженным лаем устремлялся на свою единственную стезю жизни. Нужно ли говорить о том, что однажды он не вернулся из леса? Через год автор, блуждая в лесу с ружьем, натолкнулся на его кости и на кожаный ошейник с медной бляхой. Осмотрев место трагедии, он понял, что произошло. Несясь во весь опор за какой-то неведомой, но прекрасной дичью, он налетел на острый, как пика, сук дерева и был пронзен насквозь.

Не будет преувеличением сказать, что этот небольшой рассказ, замешанный на густой прозе описаний всего живого, биологического и растительного, вкупе с человеческой особостью, в конце концов раскрывается в метафизику сущего. Трудно не представить себе судьбу Арктура как метафору человеческой расы, которая со своими пятью (всего лишь!) чувствами несется навстречу неведомому.

## АВТОПОРТРЕТ

Конец пятидесятых годов в литературе соцреализма был временем ошеломляющего появления Казакова. К этому времени относится еще один его абсолютный шедевр, рассказ «Трали-вали». Будучи тогда молодым доктором, я тем не менее ревностно следил за молодой литературой. Помнится, этот рассказ вызвал основательную истерику в официальной прессе: критики признавали большой талант автора и лицемерно удивлялись: как с таким талантом он мог столь основательно исказить советского человека? За пределами официальщины рассказ о бакенщике Егоре вызвал бурный восторг.

Рассказ начинается виртуозной увертюрой изобразительных средств, в которой, как всегда у Казакова, звучат многочисленные запахи: «...с берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов...»; «...а от воды пахнет глубиной, потаенностью...»

В принципе Егор — это не что иное, как автопортрет Казакова. Вот как он пишет о его внешности: «Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап». Всякий, кто знал Юру,



скажет, что этими качествами обладал и писатель. Но дело не только во внешности. И до, и после рассказа Казаков шутливо отмахивался от всяких жизненных сложностей именно этой приговоркой: «А-а-а, все это трали-вали...» Егор любил покрасоваться во флотской мичманке. Любимым головным убором Юры была фуражка Тартуского университета с лакированным козырьком. Кстати, ведь и имена Егор и Юрий идут от одного корня. Дело, однако, не только во внешних приметах. Писателя и бакенщика роднит одно сокровенное свойство.

На протяжении всего рассказа автор подчеркивает грубоватость, неотесанность персонажа, а также его наивную, едва ли не детскую хитроватость, жадноватость, желание проташиться, то есть в основном захмелиться, как нынче говорят, «на халяву». Вот, например, изумительная сцена любовной охоты в стелющемся по лугам тумане. Впереди промелькнула и спряталась розовая косынка. «Стой! — дико вопит он. — Стой! Убью!» Любимая девушка Аленка со смехом и визгом убегает. Он настигает, валит на землю, и они забываются в счастливом объятии.

Столь же непосредственно выглядит сценка, когда на плес, возле Егоровой сторожки, высаживаются речные путешественники. Они просят переночевать, и он с деланой неохотой, а на самом деле с жадным предвкушением пьянки («Егор очень молод, но уже пьяница») разрешает им остаться, надевает все свои военно-морские регалии, шутует и фиглярничает, чтобы получить лишний стакан водки.

Иногда среди ночи он оставляет спящую Аленку и уходит на реку. Им овладевает и сладкое и пугающее чувство мировой тоски, кажется, что кто-то зовет его со звезд. Он пытается отрешиться от этого своим ленивым «трали-вали», однако уже чувствует, что его «затягивает». Пару раз в месяц какие-то неведомые силы заставляют его проявлять свой невероятный дар. Вдвоем с Аленкой они берут лодку и уплывают на середину реки. Там он, забыв про все на свете, начинает петь старые русские песни; девушка ему вторит. Оказывается, он обладает голосом удивительной силы и выразительности. «Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению... И дрожит его кадык, и скорбны губы».

Однажды, уже в середине семидесятых, я пригласил одну английскую славистку поужинать в ресторане Дома литераторов. Почти все столы в Дубовом зале были заняты дружно отдыхающими писателями. Столик, впрочем, нашелся благодаря моей устойчивой ресторанной репутации. Едва успели нам сервировать ужин, как в зале появился Казаков. Покачавшись немного в середине помещения и не ответив на приглашающие жесты ряда коллег, он направился прямо к нам; толстые очки, слегка набухший нос, постоянная его неопределенная улыбка на крупных губах; да, нужно отметить красивые очертания головы, он принадлежал к тем людям, которым ничуть не мешает лысина. Он был уже основательно «типси», как говорят англичане. Не дожидаясь приглашения, он оседлал стул, налил себе полный фужер, подцепил моей вилкой закуску. Глотая, жуя и снова глотая, он не прекращал говорить с каким-то странным напором, не давая мне ни малейшей возможности представить его моей спутнице.

— Слушай, старик, я сегодня такой, УХХ, рассказ придумал, УСС, понял? Вот вообрази, один чувак идет по дремучему, БОБЛ, лесу. Запахи

вокруг, ИХИОХИ ОХЕННЫЕ. Вдруг видит — в чаще окна светятся, а там, БЛОБ, а там, вообрази, буфет с великим множеством, старик, ОХЕННО-ОХИХ напитков, и там чувиха его встречает, ХУХ, обалденная, вот вроде твоего кадра; ты откуда, девушка?

— Это Присцилла, Юра, она из Англии, — сказал я.

— Вы заказывать, Юра, что-нибудь будете? — спросила, подходя, наша любимая официантка Рита.

Он тут же обхватил ее за кругленькую талию.

— Нет, Ритуля, я заказывать, НАФИОХУ, ничего не буду, а вот этот, который тут с кадром из Дании сидит, закажет мне, БЛБЛ, граф-ф-ффинчик.

Тут его кто-то, вроде бы Конецкий, потянул за рукав, и он перебазировался со своей историей о лесном чудо-буфете за другой стол.

— Кто это? — спросила потрясенная Присцилла. — Страшно сказать, но мне вдруг показалось, что это мой самый любимый русский писатель. Как? Это и есть Казаков?! Но как он может так шляться и нести эдакий вздор со своим Божьим даром?

— Перечитайте «Трали-вали», — посоветовал я. Что еще я мог сказать разволновавшейся англичанке?

## ДЖАЗОВАЯ ПЬЕСА

В те годы в Москве очень трудно было достать что-нибудь доброкачественное для питья. Возникающим то и дело компаниям, вместо того чтобы заниматься делом, приходилось бродить по «творческим клубам» в поисках творческого вдохновения. Однажды летним вечером большая компания, возникшая в Переделкине, передвигалась на Суворовский бульвар в Дом журналиста. По дороге коллектив распался на мелкие группы. Мы с Казаковым одновременно вошли в Домжур. Там шел какой-то многолюдный бал с танцами. Пробираясь через толпу, мы выискивали «наших». Тут объявили перерыв. Музыканты отправились погулять, оставив свои инструменты под присмотром пианиста. Пианист тихонько что-то наигрывал. Юра слушал его, держа в зубах здоровенную гаванскую сигару. Пианист тут стал импровизировать на тему Those

Foolish Things. Юра раздвинул толпу и словно кот прыгнул к оставленному контрабасу. Он играл и ухмылялся, не выпуская сигары изо рта, потный, массивный, эдакий символ «музыки толстых», не хватало только буржуазного цилиндра на плешь. Никто его не знал в этой толпе. Все стали подтанцовывать, не догадываясь, что на баше играет «гений русской прозы».

Читая его рассказы, можно подумать, что они написаны либо дореволюционным русским помещиком, либо советским деревенщиком, почвенником, сродни Солоухину или Астафьеву. Между тем он был арбатским, то есть человеком городской культуры, или, так скажем, субкультуры. Именно там, в грязных дворах послевоенной Москвы, возникла у него неудержимая тяга к кислороду, чистым запахам незагаженных пространств и далее — к полярным морям. Вместе с тем там же, по соседству, в институте Гнесиных, который он окончил по классу контрабаса, возникла и тяга к городской музыке, джазу. Как-то он рассказывал, что еще в сталинские времена подрабатывал, «лабал», в «Коктейль-холле» на улице Горького. Этим я воспользовался, когда писал третий том трилогии «Московская сага»,

«Тюрьма и Мир». Там есть эпизод в этом самом загадочном злачном месте тоталитарной столицы. В зале развлекаются лауреаты Сталинских премий, а на антресолях маленький джазик играет «Красную розочку».

«...за перилами антресолей был виден контрабасист, ловко перебирающий струны сардельками пальцев, большой, совсем молодой, хоть и уже лысеющий, к тому же сильно застекленный солидными очками парень, с блуждающей таинственной улыбкой на толстых губах; о нем Катаев однажды сказал, что это надежда русской прозы... Юрий... Юрий... ну неважно...»

Джаз был неотъемлемой частью его артистического мира. Он пробивался к нему сквозь массу помех через старенькие радиоприемники, оставленные в лесных сторожках или на рыбацких топях, и, уж конечно, самый его лирический, самый светлый и счастливый рассказ «Осень в дубовых лесах» (1961) не обошелся без джаза: «...я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос

что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть. Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию... В ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные...» Джазовая тема звучала в его голове, когда Он и Она, униженные и измученные, отчаялись найти в гигантском городе хоть какое-нибудь место, чтобы предаться любви. Та же тема звучит, когда наконец спустя год они обрели приют в дубовых лесах.

В «Проклятом Севере» (1964) контрапунктом снова является игра джазового квартета. Два суровых северных маримана (по всей вероятности, Казаков и Конецкий) проводят отпуск в Ялте. Крым очаровывает их своими вечными средиземноморскими запахами, они стараются забыть свой изнурительный северный океан, однако постоянно и в мыслях, и в разговорах возвращаются на «проклятый Север», после чего остается только с ухмылкой взирать на ярко освещенные туристические лайнеры. Один



из вечеров они проводят в ресторане (по всей видимости, в «Ореанде»), и тут герой начинает наблюдать за музыкантами.

«...Гитарист равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда... он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты... и вновь ударило меня по сердцу и завертелось, закружилось, понеслось мимо, и та осень в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть».

В принципе все его лучшие рассказы спонтанно построены по схеме джазовых пьес: сначала идет лирическая тема, потом головокружительная импровизация с квинтовыми аккордами и наконец наступает щемящая кода.

## ПЛАЧУ И РЫДАЮ

Если говорить о философии Казакова, ее можно прямо отнести к традиции великого гуманизма. Он любит жизнь, человека, животных,

любит до слез. Выросший в атеистическом Союзе писателей, он постоянно думает о Боге, милосердии, жаждет духовной жизни. И в то же время перед нами заядлый, если не страстный, охотник, то есть активный участник порочного круга жизни, уничтожитель живых существ. Пытаясь постичь тайну жизни, он с неотразимой артистической жестокостью описывает смерть.

С особенной яркостью эти противоречия возникают в рассказе «Плачу и рыдаю» (1963). Трое охотников бродят по головокружительно красивому весеннему лесу. «Как и вчера, как и тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными, как сажа, ветвями дубов засверкала Венера». Пришла ночь, и появились вальдшнепы. Дальше начинается избиение вальдшнепов. «Вальдшнеп упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место, шуршал листвой и, как лягушка, упруго подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке... и все — грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи, — все было устремлено ввысь в смертной тоске».

Позже в сторожке, когда они уже варили похлебку из вальдшнепов, один из них, филолог, вы-

пил и вдруг взволновался, начал высказываться: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразиях бесславно, не имущу вида!» Интересно, что почти немедленно эта трагическая и неизбывная ламентация сменяется у этого охотника восторженным кличем во славу жизни: «Чтоб жили мы все счастливо! За прелестных женщин! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!» Мало чем эта очарованность весной отличается от гулких позывных вальдшнепов, летящих на весеннее токовище.

Казакова, как Хемингуэя (в принципе они очень близки), привлекали люди экстремальных профессий: моряки, матросы океанских траулеров, полярники, зверобои. Постоянно рискуя своей жизнью, эти профессионалы неизбежно сеют смерть. Быть может, оттого он и занимается охотой, что и сам хочет быть, как Хемингуэй или Гумилев, одним из своих героев.

Агония любой твари привлекает его пристальное внимание. Будучи на траулере («На Мурманской банке», 1962), он описывает последние минуты рыбы. «Рыба лежит горой на палубе... Вынутая из глубины, она неподвижно и мучи-

тельно засыпает. У трески вылупляются пузырьками глаза, топорщатся плавники... Потягивается в смертельной истоме зубатка. Красный морской окунь становится все страшнее... морские скаты меняют цвет, будто кричат цветом, ужасаются, молят о пощаде, о воде, о темно-синей глубине».

В очерке «Белуха» (1963–1973) Казаков описывает плановое избиение стада этих зверей, своего рода полярных дельфинов, в Ледовитом океане. Стадо, не подозревая подвоха, идет прямым ходом в загон. Охотники наготове. «В ужасной страсти своей к убийству выпросил и я у боцмана винтовку и все держал, с наслаждением ощущая ее тяжесть... Но, разглядев белух, я вдруг остыл, и положил винтовку, и стал молиться. Господи, отвернули бы они в море! Испортились бы наши моторы!» Он молится о том, чтобы избиение не состоялось, чтобы «эти прекрасные существа» ушли, чтобы продолжить свою «непостижимую» жизнь. Между прочим, главная цель охоты — обеспечение кормом зероводческих (песцовых) ферм.

Увы, все белухи этой стаи до единой были обречены. На это ушел один час вдохновенной, «как на войне», стрельбы.

Далее идут поразительные в своих подробностях и основательно садомазохистские описания истребления и разделки этих «прекрасных существ». Увы, это была не война, но «лагерь смерти». Очерк резко обрывается воплем: «Белуха идет!»

В июле 1980 года, за неделю до навязанной нам эмиграции, мы с Майей приехали в Абрамцево попрощаться с Юрой. Венец его литературных заработков — основательный старый дом — стоял в большом запущенном саду. Был жаркий безоблачный день. Юрий Павлович Казаков спал. Мать его Устинья Андреевна сидела на веранде то ли с шитьем, то ли с вышивкой. «Юрочка стал слаб, — сказала она нам. — Подолгу спит, мало пишет. Повремените с полчаса, Вася, а потом уж я его разбужу».

Он проснулся раньше, вышел, подтягивая затрапезные джинсы, буркнул «Привет!» и скатился по крыльцу в заросли своего сада. В густейшей высокой траве и кустах он исчез, потом вынырнул с поднятой головой, с раздутыми ноздрями, скакнул куда-то в сторону, опять исчез, опять вынырнул. Так он не менее четверти часа

двигался среди буйства природы, словно пес Арктур. Наконец вышел на дорожку и направился к нам, неся в руках огромный букет георгинов. Он собрал их для Майи.

Среди примет гениальности есть такая курьезнейшая, как жадность. Жадными были Бетховен, Эдисон, Бунин. По-детски жадным был и Казаков. Так, во всяком случае, говорили, посмеиваясь, его друзья. В тот день с георгинами в руках он являл собой апофеоз своей великолепной преодолённой жадности. Это была наша последняя встреча. Через два с чем-то года, уже в Вашингтоне, мы узнали, что Юра умер. Вскоре дошла до нас фраза, произнесенная над ним его другом Георгием Семеновым, таким же, как он, охотником и мастером лирического рассказа. «Ушел Юра, — сказал он, — и ничего теперь для меня не осталось в этом мире, только холодный дождь».

*«Огонек», 18–25 октября 2004 г.*

# Светлый путь

Нынче у нас много говорят о кино. Возрождается «важнейшее из всех искусств». Есть мнение, что важнейшее в нынешние времена должно важнейшим образом зарабатывать деньги, бросать вызов аж самому Голливуду-батюшке. В этом видится принципиальное отличие современного фильма от произведений тех времен, когда главной задачей была мефистофелевская борьба за человеческие души и парадоксальное сближение с прежним, то есть почти уже вечным в российском контексте, лозунгом «догнать и перегнать».

Такого рода странные сближения, быть может, приведут нас к некоторой осмотрительнос-

ти. Стоит ли ради коммерческой конкуренции с голливудскими кровососами только лишь и делать, что пестовать кровососущих своих? Ведь никогда же, как бы ни старались, не одолеем. Нужно ли окончательно отринуть установившуюся в течение многих десятилетий советскую кинематографическую традицию или следует ее, замшелую, а чаще всего даже тошнотворную, пересмотреть, чтобы понять: было в ней хоть что-то, кроме поверхностного и бездарного пропагандистского блуда? Имеет ли она хоть малое отношение к тому, чем жили в те времена умные люди? Иными словами, обладала ли она хоть какими-то глубинными ценностями?

Сравнительно недавно на зарубежном русском телеканале «Наше кино», который отнюдь не посягает на соревнование с Голливудом, а просто гонит старый хлам про геройских чекистов родины, не гнушаясь даже сусальными сказками про Владимира Ильича и Феликса Эдмундовича, я посмотрел фильм Григория Александрова «Светлый путь». Лента была снята в 1940 году, и в главной роли там блистала звезда тех лет Любовь Орлова. Увы, здесь она играла не волшебную актрису цирка: «Хау ду ю ду, хау ду



ю ду, я из пушки в небо уйду, в небо уйду!», а заурядную стахановку прядильного цеха.

Не помню, досмотрел ли я когда-нибудь в молодые годы этот фильм до конца, но сейчас, дожив до преклонных лет, я сразу почувствовал, что он не так-то прост, и отсидел перед «ящиком» все положенные полтора часа; фильмы тогда были недлинными. Прежде всего меня насторожило то, чего я раньше не замечал: сценарий был написан Виктором Ардовым, другом Ахматовой и известным человеком художественной богемы. Некоторые детали, в частности американская кинокепка и крой курток героя, говорили о том, что богема присутствует и в этом вроде бы чисто пропагандистском фильме.

Орлова начинает всю эту историю в своем привычном амплуа очаровательной провинциальной недотепы, уборщицы захолустной и вроде бы даже частной гостиницы. Следует каскад комедийного хаоса в духе «Веселых ребят». Затем какие-то гротескные партийцы вовлекают девушку в стахановское движение на ткацкой фабрике. Сначала она работает на десяти станках, потом на тридцати станках, потом на ста станках и наконец, в манере чистейшей хлестаковщины,

бьет мировой рекорд на трехстах станках. И вот тут-то происходит невероятная кульминация, момент чуть ли не метафизического, во всяком случае, прекрасно-ужасного по своему пафосу преобразования. Не знаю, понимал ли это Александров, но Орлова явно проникла в суть своей трансформации.

Она идет одна по проходу среди своих трехсот работающих станков. Постепенно походка ее переходит в марш, руки отмахивают каждый шаг, глаза зажигаются огнем удивительного вызова, устремляются в некую высоту, она поет:

Нам ли стоять на месте?  
В своих дерзаниях всегда мы правы!  
Труд наш есть дело чести,  
Есть дело совести и подвиг славы!  
К станку ли ты склоняешься,  
В скалу ли ты врубаешься,  
Мечта прекрасная, дорога ясная  
Всегда зовут тебя вперед!  
Нам нет преград ни в море, ни на суше.  
Нам не страшны ни льды, ни облака.  
Знамя страны своей, факел любви своей  
Мы пронесем через миры и века!

Надо сказать, что среди привычной большевистской пошлости и пропагандистской трескотни присутствовала, по крайней мере в начале их движения, одна действительно глубокая, чуть ли не ницшеанская утопическая идея — создание нового человека, советский вариант «юберменша», всегда правого во всех своих дерзаниях. Именно об этом превращении слабого человеческого существа в некую фурию социализма, в живую скульптуру и был сделан фильм — во всяком случае, так он может быть прочитан сейчас. Будь я режиссером, я бы сделал современный ремейк «Светлого пути» для нынешнего кинорынка: люди превращаются в скульптуры государственного бизнеса, скульптуры вздымаются в лучезарное будущее; путь бесконечен (до ближайшего Армагеддона).

*«Огонек», 6 сентября 2004 г.*

# Вестерны и истерны

Зимними вечерами в Басконии, подключаясь время от времени к программам канала «Наше кино», я понял, что восьмидесятые годы, которые все целиком я провел в далекой американской эмиграции, были не так уж бедны по части профессионально сделанных картин. Несколько раз я подолгу застревал перед телевизором, когда шел сериал об одном козлобородом товарище, возглавлявшем одно козлоное революционное учреждение в Петрограде 1917 года. Товарища этого очень профессионально сыграл один мой собственный товарищ, талантливый актер плеяды раннего «Современника», однако не только

это обстоятельство надолго приковывало меня к экрану. То, что я видел, было, по сути дела, рассказом о расправе большевиков над другой революционной партией, известной под сокращением «ср.» — социалисты-революционеры.

Сделано все это было, что называется, без балды, то есть с высокой степенью кинематографической достоверности. Тщательно были продуманы интерьеры, грим, костюмы, оружие и прочие аксессуары, включая, например, петроградские трамваи того времени. Молодые большевистские вожди собирались на совещания — Урицкий, Володарский, Бухарин, Ленин, Дзержинский и прочие, и только одного, тоже слегка козлобородого товарища, а именно Троцкого Льва Давидовича, катастрофически не хватало. Имя человека, практически руководившего тогда, в послеоктябрьские месяцы, всеми действиями новой жестокой власти, ни разу не упоминалось на экране. Идеологическая цензура таким образом создавала эффект странного заикания.

Огромная кинотека фильмов о революции и Гражданской войне на сто процентов страдает недугом этого заикания. Мне кажется, что на

пороге возникновения новой коммерческой киноиндустрии стоит подумать о коррекции нашего ущербного «золотого фонда», о показе того, как это было бы без цензуры, и сделать это можно в форме ремейков.

Приближающийся новый кинобум, по всей вероятности, приведет к острому дефициту сюжетов. Стоит ли нам высасывать из пальца некие подобию бесконечных западных вариаций на заезженные темы? В шестидесятые и семидесятые годы, когда западничество возбранялось, кинематографисты иной раз говорили, что вестернам мы должны противопоставить истерны, что Средняя Азия или, скажем, Кавказ являют нам бездонные кладези приключений. Таких захватывающих истернов создано было немало, достаточно вспомнить «Тринадцать», «Седьмую пулю», «Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих...». Сейчас, когда мы излечились от соцреалистического заикания (уместно тут вспомнить пролог к «Зеркалу», сеанс у логопеда), перед нами просто-напросто открывается бескрайний кинематографический континент.

Страна наша в течение XX века побила все мировые рекорды драматических коллизий.

Между тем не востребованными в кино остаются огромные исторические территории. Взять, например, «архипелаг ГУЛАГ»; практически там еще не высаживались. Там были ярчайшие вспышки человеческой свободы вроде восстаний зэков в Воркуте и Экибастузе. Немало было на этой каторге и людей, в одиночку бросавших вызов неумолимой системе. Вот, например, во второй половине восьмидесятых в Лондоне я познакомился с польским евреем Гарри Урбаном, умудрившимся несколько раз сбежать из страшных советских лагерей, пробраться сразу после войны через всю Европу, попасть в Венесуэлу, сказочно там разбогатеть на нефтяных участках и написать о своей жизни книгу под названием «Товарищ, я еще жив!».

Даже и Гражданская война, на полях которой паслось не одно поколение советских кинематографистов, осталась во многих своих ипостасях терра инкогнита. Единственной — и, кстати говоря, весьма впечатляющей — известной мне попыткой показать эту бойню глазами белых был многосерийный фильм Гелия Рябова «Конь белый» о колчаковском движении в Сибири. Лишь эпизодически кое-где мелькают в фильмах

неизбежные и абсолютно трагические участники российской революции, анархисты. Но можем ли мы себе представить более захватывающие «сеттинги», чем республика Гуляйполе или восставший Кронштадт? Понимаем ли мы глубокую (хоть и безнадежную) философию лозунга «Анархия — мать порядка!»?

Русская эмиграция, молодые поэты, объединившиеся в группу «Парижская нота», любовь и гибель Поплавского и Червинской — все это и многое другое может воплотиться в своеобразную и сугубо трагическую «кинофиесту». Исключительными характерами, поднимающимися в эмпиреи и опускающимися на дно, могут стать образы Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.

Короче, если российское кино получит должное финансирование, оно (кино) сможет не только количественно возродиться, но и качественно выйти в мировой авангард. Уже в течение десятилетий в западном искусстве не возникало никаких «новых волн». Хотелось бы думать, что наши ребята (я имею в виду молодежь) смогут все это перевернуть. Национальная идея не может держаться только на нефтедолларах.

*«Огонек», 20 сентября 2004 г.*



# Сдвиг речи

Весь прошлый год я писал старинный роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки», электронной почтой не увлекался, никому не звонил, за газетами в город не ездил, в общем, создал вокруг себя то, что называется инкоммуникадо.

Часам к десяти вечера, окончательно обалдев от романа, я перебирался в гостиную и включал телевизор — чаще всего программу «Наше кино». Наше — ну в общем-то советское, словом, сделанное нашими ребятами нескольких поколений на пленке «Свема», а потому носящее в основном ноктюрный характер; даже и яркий день родины получался тускловат.

Очень редко включение совпадало с началом фильма. В принципе я смотрел произведения с неведомыми мне титулами и титрами. Фильмы поздней сталинской поры угадывались почти моментально, во-первых, по идеологическому содержанию, а во-вторых, по приподнятой интонации речи, когда конец каждой фразы поднимался к восклицательному знаку как бы для того, чтобы стукнуть этой дубинкой каждого советского зрителя по голове.

Первый сдвиг речи произошел в шестидесятые годы в работах таких мастеров, как Ромм («Девять дней одного года»), Хуциев («Июльский дождь»), ну и, конечно, Тарковский («Иваново детство», «Страсти по Андрею»). Тогда, по сути дела, впервые в нашем кино проявилась современная киноречь, произнесенная в манере недосказа; своего рода киновариант хемингуэевского «айсберга». Этот сдвиг, однако, не стал массовым явлением. В продукции семидесятых и восьмидесятых по-прежнему царили театральщина, неестественность, конформизм. Выработался легко узнаваемый стиль, включающий экивоки в сторону мастеров-новаторов вместе с подавляющей редактурой и всеобъемлющей халтуркой.

Если говорить о кино как о «фабрике грез», то это были грезы сугубо советского демоса, людей «второго мира». Речь его героев была речью «как в кино», сродни тому, как зощенковский «скобарь» мечтает говорить и жить «как в театре».

Приближался, однако, другой, более кардинальный «сдвиг речи». Интересно, как может такой сдвиг уловить человек, который в течение всех восьмидесятых не был дома, десять лет шлялся, спотыкаясь, среди чужого языка, который (человек) немного уже подзабыл, как говорят советская улица и советский экран, и который уже сейчас, в начале нового века, время от времени наугад включает эмигрантский киноканал.

Хронологически этот сдвиг приходится, очевидно, на конец восьмидесятых, то есть на разгар перестройки, и возник он во многом под влиянием школы Алексея Германа с ее ошеломляющей невнятицей («Мой друг Иван Лапшин» и позже — гениальный «Хрусталеv, машину!»). Вторым важнейшим творческим импульсом тут является катастрофа редакторской цензуры. Однажды я подключился к какому-то большому фильму (до сих пор не знаю ни его названия, ни

авторов), в котором рассказывалась история юного браконьера, вылавливающего осетров на Оби. Сначала, увидев необъятные просторы Приобья, запечатленные на все той же тускловатой пленке «Свема», я подумал, что сейчас потечет все та же привычная, корневая сибирская, хрестоматийная лажа, но тут в тумане сблизилось несколько лодок с подвесными «вихрями», и мужики, сидящие и стоящие в этих лодках, заговорили между собой так, как только в конце восьмидесятых они смогли заговорить, когда весь фальшивый пафос уже испарился.

Этот временной и социальный сдвиг конца восьмидесятых сразу становился ощутим, о каких бы временах и каких бы людях ни шла речь в кинопроизведении, будь это история девчонок-наркоманок в современной Москве или одиссея кронштадтских морячков, везущих порох в Ленинград через немецкую блокаду. В этом смысле интересно сравнить два фильма, сделанных на материале ГУЛАГа. Один из них, снятый, кажется, еще во времена «оттепели», рассказывает о бригаде зэков, не сломленных каторжными тяготами коммунистов, которые находят в распадке огромный самородок золота.

После долгих дискуссий вокруг таежного костра, словно на театральной сцене, они решают сдать самородок на лагерный пункт приема. Пусть они стали жертвами несправедливых политических репрессий, но Родина выше этого, а ей нужно золото, чтобы бороться с немецко-фашистскими захватчиками. Станным образом к концу этого в общем-то страшного фильма возникает ощущение рождественской сказки, и происходит это не из-за сюжета, а из-за лексической и интонационной неправды.

Второй фильм, «Кома» (режиссер Нийоле Адоменайте), рассказывал о женской зоне в сталинских лагерях на Колыме, но принадлежал он уже к новой формации — к питерской школе конца восьмидесятых — начала девяностых. Здесь речевой поток отвергает всякую возможность существования коммунистов на котурнах — и даже не по содержанию, а по интонации, по бытовизне, по проборматыванию, по невнятице, когда ты понимаешь, что окружен реальной средой земного ада, то есть художественной киноправдой.

Кажется, отечественный кинематограф снова подходит к очередному сдвигу речи. Пока еще трудно сказать, в чем это будет выражаться.

С одной стороны, мы слышим выразительную, особенно «сквозь пистолетный лай», речь конкретных пацанов из «Бумера», инфантильные монологи стюардессы Литвиновой, японское полумолчание «Возвращения», с другой же стороны, надвигается речь ширпотреба, массивированного кинорынка, непрожеванного перевода — иначе говоря, «глобализации». Будем все-таки надеяться, что новый сдвиг будет произведен по воле талантливых одиночек.

*«Огонек», 4 октября 2004 г.*

# Господи, прими Булата

Завершилась жизнь Булата Окуджавы. Всей стране больно, ему, надеюсь, уже нет. У Набокова встречается фраза: «Жизнь — это записка, нацарапанная во мраке». Иными словами — неразборчиво. В большинстве случаев это, очевидно, близко к истине, но есть все-таки исключительное меньшинство, чьи царапины из мрака сияют вечным огнем. К этому числу относится Булат, потому что несколько десятилетий одного века из истории человечества его присутствие смягчало климат свирепо холодной страны, странной печалью напоминало необузданным мужикам с их водками и драчками о чем-то ангельском,

Господи,  
прими Булата

безукоризненным джентльменством ободряло усталых женщин.

Никакими модами, течениями и направлениями не объяснить и не опровергнуть его дара. В девяностые годы кучка новых бездарей взялась его грызть якобы как воплощение ненавистного «шестидесятничества», на самом деле они имели в виду его уровень, на который им никогда не вскарабкаться, какими бы липкими ни были руки. Его песни с их уникальной мелодичностью и ритмами, отмечающими перепады послесталинской поэтической походки, действительно были позывными той далекой молодости. Мы тогда любили говорить друг другу: «Ты гений, старик», — но в отношении Булата каждый понимал, что это не просто фигура речи. И мы называли его запросто — другом, Булатиком.

Сейчас, когда я это пишу, его тело, очевидно, после отпевания на рю Дарю лежит в морге в ожидании самолета на Москву. Пальцы уже не потянутся к гитаре, вообще не пошевелиятся, во всяком случае до второго пришествия. Кажется, Гёте сказал перед смертью, что отправляется в зону великих трансформаций. Впрочем, и жизнь в нашем животворном и тлетворном возду-



хе — это часть непостижимых трансформаций. Неподвижный Булат для всех нас, пока живых, непостижим.

12 июня началось для меня с песни «Исторический роман» на утренней программе ОРТ. Видеозапись, сделанная, по всей вероятности, лет семь назад, демонстрировала Булата в хорошей физической форме, с прекрасным чувством певшего столь близкие слова:

В склянке темного стекла  
Из-под импортного пива  
Роза красная цвела  
Гордо и неторопливо.

Я растрогался — утром, не проспавшись, увидеть и услышать Булата с этой песней! — и тем более еще потому, что песня была им сочинена и посвящена мне после прочтения тогда тайного «Ожога». Вечером в сводке Митковой прозвучало сообщение о том, что Булат умирает в Париже.

Беспомощно вожусь в куче воспоминаний, пытаюсь разделить их хронологически и по значительности. Первое еще с грехом пополам получается, второе, перекрученное острейшим

Господи,  
прими Булата

горем, — в полной неразберихе. Вспоминаю момент, когда я первый раз увидел Булата в его излюбленной позе: одна нога на стуле, гитара на колене. 1960-й, скопище друзей на чьей-то кухне, среди них Гладилин с единственным в нашей компании портативным французским магнитофончиком. 1961-й, огромная безобразная гостиница в Питере. Налетаю на Булата с невестой Олей Арцимович. В ресторане он говорит мне почему-то шепотом: «Ты представляешь, она физик!» Я, как всегда, надираюсь, и мы отправляемся в номер, где ждет компания молодых друзей. Он там поет:

Жить не вечно молодым,  
Скоро срок догонит.  
Неизменным золотым  
Покачусь с ладони.

Осень 1968-го, Ростов-на-Дону. Мы с ним вдвоем — «спиной к спине у мачты» — во Дворце спорта перед многочисленной враждебной массой ленинского комсомола. Праздничное сборище — пятидесятилетие борьбы и побед — поражено сомнительными выступлениями гостей,

московских писателей. Провокационные выкрики о Чехословакии. Булат спокойно заявляет: «Ввод войск был непростительной ошибкой!»

9 мая 1969-го. Мы стоим на террасе ялтинского Дома творчества. Булат щурится на солнце: «Сегодня мне сорок пять лет. Не могу себе этого представить!» Появляется Белла и говорит, что, по достоверным сведениям, предыдущее поколение писателей закопало в саду несколько бутылок шампанского. Все отправляются на поиски и, конечно, находят немало. Ночью на той же террасе виновник торжества впервые поет «Моцарта».

1989-й год, какой-то месяц. Булат поет в готической библиотеке Смитсоновского института в Вашингтоне. Как и раньше — одна нога упирается в стул, гитара на колене.

А молодой гусар, в Наталию влюбленный,  
Он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Не виделись девять лет.

— А ты, Булат, стал лучше петь с годами.

— Да, Васька, знаешь, со старостью прибавляю в вокале.

Господи,  
прими Булата

И так вот всегда, как у нас положено, с легкой усмешкой, никогда до конца не всерьез, как будто все мы персонажи не жизни, а анекдота, а основной смысл всегда в скобках, и там уже не процарапаешь ничего, ни впотьмах, ни при свете дня. Но наступает день, когда скобки раскрываются.

Господи, просвети, где разместимся с друзьями в сонме далеких душ? Все эти комбинации, именуемые поколениями, правда ли не случайность? Господи милостивый, единый в трех образах Отца, Сына и Святого Духа, вспомни о малых своих посреди материализма! Не дай предстать, Милосерд, перед твоим отсутствием! Господи, прими Булата.

*17 июня 1997 г.*

# На смерть Романа Солнцева

Очень прискорбно то, что Роман от нас ушел. Я знал его давным-давно, эта дружба еще усилилась благодаря Жене Попову, который был сердечным другом Романа. Я уважал его как поэта, как прозаика и как инициатора великолепного издания — «День и Ночь». В последнее время, так вышло, я очень часто с ним встречался и не мог даже представить себе, будто что-то вот произойдет. В частности, я читал его вещи, которые выдвигались на Букеровскую премию. Я помню, что даже тогда, в обстановке довольно такой сумбурной и несколько тоскливой, у всех вдруг нашлось общее желание выдвинуть сразу

две его книги — «Золотое дно» и «Минус Лавриков». «Минус Лавриков» меня поразило. Текст показывает колоссальную потенцию Солнцева как прозаика. Роман Солнцев, конечно, еще бы написал что-то очень сильное, важное для всех нас. Но, увы... Царство ему Небесное...

# Классик и плейбой

Зоя Богуславская  
«Разговоры с Аксеновым»

Совпало так, что мы жили в Париже, в соседних номерах гостиницы «L'Eglon» («Орленок»), встречаясь ежедневно. В те дни мне довелось наблюдать детский восторг Евгении Семеновны, смертельно больной женщины, которая в последние месяцы жизни попала в мир высокого искусства, живший до этого только в ее воображении. Василий осуществил все задуманное: он с матерью проехал на машине через всю Европу поражаясь, откуда брались силы, выносливость, а главное, неиссякаемая доброжелательность матери, которую не ожесточили изощренные издевательства, через которые она прошла.

Окна нашей гостиницы выходили на кладбище Монпарнас, где похоронены Бодлер и Сартр.

Евгения Семеновна Гинзбург вернулась умирать в Россию. Ее хоронили в дождливый день, мало кто был оповещен о траурном событии. Однако близкий круг людей сомкнулся у ее могилы, капли дождя сползали с мокрых деревьев на лица людей, которые не плакали. Каждый думал о судьбе этого редкого таланта, о ее книге, ставшей настольной у десятков тысяч современников, переведенной во всех цивилизованных странах, оставшейся одним из самых гуманных памятников жесточайшего времени. А у меня в памяти всплывала картина, как мы с Евгенией Семеновной сидим на крыльце переделкинской дачи драматурга И. Ольшанского (где ей снимали комнату), она читает мне завершающую главу рукописи «Крутого маршрута».

«Салон» Евгении Гинзбург в ссылке аукнется и после ее смерти. Ее сын вместе со своими единомышленниками в квартире своей матери начал придумывать неподцензурный альманах «Метрополь».

Спрашиваю:

— Как возникла мысль о квартире мамы?



— После ее смерти однокомнатная квартира в кооперативе у метро «Аэропорт» некоторое время пустовала. Моему сподвижнику по «Метрополю» Жене Попову тогда негде было жить, и я ему дал ключи. Таким образом мамин последний «салон» превратился в штаб-квартиру альманаха, вызвавшего такой шум и преследования.

Мы видимся с Василием регулярно в течение многих десятилетий. Теперь каждый раз, когда он наведывается в Москву. Застать его на Котельниковской набережной, где у них с Майей квартира, сложно. Он «расписан» по телевизорам, издательствам, интервью. Интерес к Аксенову с годами не ослабевает, его «рвут на части». При этом он никогда не похвастается. Не скажет: «Посмотрите «Итоги», «Герой дня». Или: «Сегодня полоса обо мне...» Или: «В Штатах только что вышла моя новая книга...» Спрос на самого Аксенова сегодня больше, чем на экземпляры его произведений. Личность порой перерастает творческий имидж. Былым компаниям, верному кругу друзей (Евг. Попов, А. Козлов, А. Арканов, Ю. Эдлис, Г. Садовников, А. Кабаков и, конечно, Белла Ахмадулина и Борис Мессерер) Аксенов нынче частенько предпочитает одиночество.

— Почему тебе пишется лучше, по твоим словам, в Вашингтоне и Европе, чем здесь?

— В Вашингтоне за письменным столом у меня остается только один собеседник — В.П. Аксенов. В России слишком много собеседников, и я, так или иначе, стараясь им соответствовать, забалтываюсь. Сочинительство и эмиграция — довольно близкие понятия.

«Забалтываюсь» — очень емкое словцо.

Он отдал дань разным жанрам: прозе, поэзии, драматургии, публицистике. Впоследствии выйдет и первая книга его стихов. Спрашиваю:

— Кем себя считаешь по преимуществу?

— Последним представителем умирающего жанра романа (умирающего в молодом возрасте, так как его можно считать «подростком» рядом с другими), — говорит Аксенов. — Я не поэт, а романист. И, может быть, поэтому острее других, то есть нероманистов, чувствую кризис романа. Уже сейчас испытываю какую-то ностальгию по любимому жанру. В процессе «романостроительства» у меня возникает особое, почти лунатическое состояние. Домашние это заметили и даже начали в такие периоды называть меня «Вася Лунатиков». Вне романа меня никогда не тянет

писать стихи, внутри романа то и дело начинаю ритмизировать и рифмовать.

Только что появившийся роман «Кесарево свечение» наиболее точно отразил тягу к «слоеному пирогу» сочетания поэзии и прозы. Три обитающие здесь пьесы, по мнению автора, «играют роль остановок, перевода дыхания, повода для создания своего рода «парада персонажей».

Сочинительство, как главный способ общения и времяпрепровождения, выдает предназначенность Аксенова писательству. Похоже, сегодня это главный смысл его существования.

Василий Аксенов, как принято нынче говорить, — фигура культовая. Мало кто из здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, сленг, пришедший из «Звездного билета», «Апельсинов из Марокко», «Затоваренной бочкотары» и др., стал повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке 60—70-х, приклеился к целому журавлиному клину устремившихся за ним молодых писателей.

Аксенов — художник. Он занимается именно художественным творчеством. В повествовании

доминируют образность, изобразительность, парадоксально влекущие за собой интригу и поступки персонажей.

Несмотря на опыт репрессированных родителей, он не стал диссидентом, его сопротивление больше всего обозначалось на уровне стилистики и свободы поведения. Много позже, вызвав огонь хрущевского гнева на встречах с интеллигенцией в 1963 году, он становится фигурой и политической. Под голубым куполом Свердловского зала произойдет новый слом в его судьбе. Находясь в зале, он рискнет возражать разъяренному Хрущеву, когда тот обрушится на него и Вознесенского за их интервью, данное в Польше: «Вы мстите нам за смерть отца», — орал генсек. И далее в том же духе. «Мой отец жив», — поправил его Аксенов и поблагодарил за разоблачение культа личности, возвращение невинно осужденных из тюрем и лагерей. После исторических встреч главы страны с интеллигенцией, разноса творений художников, писателей, в биографию Аксенова отчетливо вплетается его гражданские выступления: он протестует против ввода войск в Чехословакию, высылки Солженицына, его многолетнее противостояние цензуре увенчается созданием альманаха «Метро-

поль», позднее названного «бастионом гражданско-этического неповиновения». Комментарием к сегодняшнему политическому курсу станет серия его острых выступлений в ведущих СМИ.

Как личность Василий Павлович Аксенов был сконструирован из первых впечатлений костромского приюта для детей «врагов народа», затем — Магадана, где поселился в 12 лет с высланной матерью, Евгенией Семеновной Гинзбург. По словам Василия Павловича, круг реальных персонажей «Крутого маршрута» (принадлежащего перу его легендарной матери) состоял из выдающихся людей того времени: репрессированных ученых, политиков, художников, образовавших своеобразный «салон», содержанием которого были рассуждения на самые высокие темы. Влияние этих рассуждений на детское сознание трудно измерить. Мне хочется расспросить его об этом подробнее. Выбрав момент, говорю:

— Можешь ли выделить какие-то особые черты этого сообщества. Уникальное явление: общение естественных людей в неестественных обстоятельствах?

Аксенов полагает, что такое сообщество существовало в их доме и раньше, но в лагере

духовная жизнь стала для интеллигенции единственным способом *выживания*. А я сегодня уже знаю последнюю статистику, сделанную учеными, которая доказывает, что в годы сталинских репрессий в лагерях и тюрьмах выживали вовсе не самые сильные, спортивные, физически тренированные, а люди умственного труда, интенсивной духовной жизни, сознательно боровшиеся против насилия. Закаляя характер, дисциплинируя тело, они заставляли себя планомерно идти порой к нереально осуществимой цели. Известная работа Натальи Бехтеревой называется «Умные живут дольше». В окружении матери Аксенова создался круг людей, у которых это внутреннее сопротивление было развито очень сильно.

— Еще в молодости, — продолжает свой рассказ Василий Павлович, — у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода «салон» мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, обернулся для мамы трагедией, стоил ей свободы. Читатель «Крутого маршрута» найдет такой гинзбургский салон в лагерном бараке. В послелагерной ссылке, в

Магадане, возник еще один салон, уже международного класса... Советский юнец Вася Аксенов просто обалдел в таком обществе: он никогда не предполагал, что такие люди существуют в реальной советской жизни. Мамин муж, доктор Вальтер Антон Яковлевич, был русским немцем, гомеопатом и ревностным католиком. Для меня он стал первым источником христианской веры. Доктор Уманский был сионистом и ни от кого не скрывал, что мечтает умереть в Израиле (эта мечта не сбылась). С порога он начинал читать какую-нибудь новую поэму: «Достоин похвалы Лукреций Карр, он первым тайну отгадал природы». Мама смеялась. На дворе стоял 1949 год, ГБ готовила вторую волну арестов.

— Был ли у членов салона доступ к газетам, книжкам, вообще к какой-либо информации?

— В какой-то мере был. Мама открыла мне, школьнику, один из главных советских секретов — существование Серебряного века, — поясняет он. — Кроме того, она познакомила меня с творчеством кумира своей молодости Бориса Пастернака. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде.

Какая-то дикая, пронзительная жалость к не востребуемым богатствам личности собственной матери, к ее погубленной в лагерях молодости зазвучала в его прозе с особой остротой («Негатив положительного героя») после момента «ознакомления с делом арестованной в 1937 году матери». На ее тогдашнем фото: «анфас и профиль, взгляд затравленного подростка, бабушкина «кофтюля» на исхудавших плечах».

Безусловно, этим чувством была выношена мечта сына показать матери Европу. Он дал ей возможность говорить на немецком и французском, видеть людей, чьи книги она читала в подлинниках, постоять у шедевров мирового искусства, которыми она восхищалась лишь по репродукциям. Аксенова поразило, что его мать после возвращения из ссылки сохранила черты терпимости к человеческим слабостям, любовь и интерес к жизни, очарованность природой. У нее была редкая тяга к новым впечатлениям, открытию новых стран и способов существования.

— Влияют ли общественный климат и бурные политические баталии на твои творческие интересы?

— Сама по себе политическая ситуация никак не влияет, однако возникшие в связи с ней



человеческие типы начинают бродить в некоем полуметафизическом пространстве, чтобы в конце концов превратиться в образы литературы: чаще всего на грани абсурда.

С годами Аксенов все более привержен одиночеству, письменному столу, хотя его семья, уклад жизни, занимают существенное место в его предпочтениях. Сегодня его интересы группируются вокруг литературы, семьи и общественной жизни. Мало кому под силу давать такое количество интервью, печатать в средствах массовой информации свои размышления порой о важнейших событиях современной политической жизни. Роль главной женщины по-прежнему крайне существенна в его жизни. После кончины Евгении Семеновны его заботы, волнения, сочувствие окружают его жену Майю. Вспоминаю, как в свое время именно она выхаживала тяжелобольную Евгению Гинзбург, что очень сблизило их. Не забуду и регулярные наезды Майи в Переделкино с «передачами» — свежесжатый морковный сок, фрукты, протертая горячая пища, — облегчавшие участь больной.

— Помнишь, у Юрия Казакова: «Каждый мой роман — это мой ненаписанный роман». А у тебя как?

— Считается, что каждый состоявшийся роман (в данном случае любовное приключение) может стать ворохом увлекательных страниц. Это верно, но к этому можно добавить, что несостоявшееся любовное приключение может стать ворохом еще более увлекательных страниц. Вот эти «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» женщины в той или иной степени отразились в образе моей основной лирической героини, которая кочевала из романа в роман. С возрастом и с накоплением писательского опыта я стал чаще отходить от этого образа. В «Московской саге» читатель находит разные женские типы, не имеющие отношения к моей личной лирике. Там есть героини старые, больные, нелепые, и я в них не меньше влюблен, чем в свою постоянную красотку.

Аксенов — джентльмен и пижон. Он одевается модно, изысканно, ощущается его любовь к фирменным вещам. Рубашечку с маленьким отложным воротничком он подберет в тон шарфу, свитер, серый, голубой, чаще одноцветный, разнообразные куртки на пуговицах, молниях, спортивного покроя сидят на нем с легкой небрежностью. Как и герои его повестей, он пропустит даму вперед, он

успеет поднести зажигалку, когда она закуривает, ринется в драку, если столкнется с хамством.

Однажды в пору нашей «Юности», во время вечерней прогулки в Переделкине затеялся откровенный разговор, и я спросила Аксенова, как он относится к той брюнетке со светло-голубыми глазами, которая частенько стала с ним появляться. Он ответил: «Конечно, я сильно увлечен, и она тоже, но она жена моего друга, поэтому быть ничего не может». Вот так. У него и тогда были моральные принципы. Сегодня, увидев симпатичное существо женского пола, Василий Павлович начнет улыбаться, появятся острота и яркость речи, цепкая внимательность взгляда, но как развивается увлечение прозаика, создавшего десятки женских образов — не берусь анализировать. Отделить материал литературы от биографии не под силу никому.

— Я вообще-то в большой степени феминист, — признается он, — давно пора, мне кажется, обуздать зарвавшихся мужланов и открыть новый век матриархата наподобие нашего блистательного XVIII.

Одну из своих пьес Аксенов целиком отдал женским персонажам, «Лизистрата» (?) (пара-

фраз Аристофана), где действие отдано только персонажам женщинам. Представительницы прекрасного пола, названные именами близких знакомых, обладают разнообразием характеров, однако сплачиваются, чтобы противостоять мужчинам, захватить или удержать власть.

— Почему сегодня забросил драматургию?

— Всего я написал на данный момент восемь пьес; это целый театр. Театр, который остался практически невостребованным существующими профессиональными подмостками. Почему они меня не ставят, черт их знает. Для них важнее в очередной раз пережевать Чехова. Одни жуют его левой стороной рта, другие — правой, третьи — крошат резцами. Так или иначе, мой театр существует в глубине моего романа, и таким образом он создает для меня атмосферу постоянной премьеры.

Замечаю, что два его «хита» — «Всегда в продаже» и «Затоваренная бочкотара», блистательно сочиненные им вместе с «Современником», — поминаются довольно часто и сегодня. Что ж, две яркие репертуарные пьесы — уже достаточно, чтобы сказать, что у драматурга есть «свой театр».

— Как рождается жанр, если это не проза?

— Не уверен, что могу убедительно ответить. Почему какие-то куски сочинительского процесса обретают театральные формы, а другие стараются влезть в жесткую сетку рифм и ритмов? Дело, может быть, в том, что я работаю в основном в самом молодом жанре словесного искусства, в романе, которому, возможно, приходит конец. Быть может, о нашем времени будут говорить: «Это было еще тогда, когда писались романы». Что касается поэзии, то она, конечно, является древнейшим и вечным жанром словесности. Человек еще в пещерах начал что-то бормотать, заниматься камланием, творить мифы, от этого он не откажется до скончания дней. Театр, маски, мизансцены возникли сразу вслед за этим. Этот жанр тоже отличается исключительной живучестью, о чем говорит хотя бы тот факт, что после советского развала из всех искусств главнейшим оказался театр. Очевидно, у людей всегда будет существовать потребность в какой-то вечер собраться вместе в небольшом зале, вместе ахать от восхищения или, наоборот, ворчать: «Опять нас обманули, ну что за говно показывают!»

— Можно ли в твоих романах (пьесах, стихах) обнаружить полное сходство с прототипами или автобиографические мотивы?

— Еще ни разу не было, чтобы я кого-то «копировал» или чтобы я кому-то из «детищ» напрямую приписывал что-то свое. Вот почему, кстати, я не пишу мемуаров. Уверен, что в процессе воспоминаний на бумаге все переверну, перекрою и заврюсь окончательно.

Сегодня Василий Аксенов живет на два дома<sup>1</sup>. Только недавно обустроился под Вашингтоном, где листья падают прямо в окна. Он по-прежнему занимается джокингом, в близлежащем парке бегают трусцой по 45–60 минут. Да, в этом доме ему хорошо работается, его привычки, атмосферу, наиболее благоприятную для творчества, обеспечивает Майя. По его словам, он любит осваивать разные предметы цивилизации, например, стиральную машину с сушкой или автомобиль. Машину водит давно и постоянно. Вообще по-прежнему спортивен.

— Отличительной чертой нашего быта, — рассказывает Аксенов, — является то, что мы живем

<sup>1</sup> Очерк был окончен в 2001 году. Место проживания В. Аксенова помнялось. Теперь его два дома — это Москва и Беарриц на берегу океана во Франции.

на два дома: в Вашингтоне и в Москве. Сейчас к этому еще присоединился маленький домик в Стране Басков. Постоянно забываешь, где оставил свитер или штаны. «Майя, ты не знаешь, где мой костюм, тот, другой?» А она отвечает: «А ты не помнишь, Вася, где мой плащ висит, в Котельниках или Фэрфаксе?»

— Как менялась твоя личная жизнь, когда «беды тебя окуривали»?

— В конце 60-х я пережил тяжелый личный, хотя отчасти и связанный с общим поколенческим похмельем (Чехословакия, брежневизм, тоталитаризм) кризис. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мое письмо. И вот тогда, в 1970-м, в Ялте я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь, а потом это переросло в духовную близость. Она меня знает как облупленного, я ее меньше, но оба мы, особенно теперь, в старости, понимаем, на кого мы можем положиться. До 1999 года Майя никогда не плакала, но потом, после гибели нашего Ванюши, она пролилась всеми своими слезами. И все-таки я до сих пор люблю, когда она смеется.

— Как сегодня ты оцениваешь американский период жизни? Я имею в виду профессиональную деятельность в Штатах: преподавание в универ-

ситете, сочинительство. Пожалуй, ты один из немногих, у кого здесь сложился имидж не только писателя, переводимого с русского, но и американского литератора. Несколько вещей, как известно, написаны тобой по-английски. Помню, как еще до отъезда ты переводил «Рег-тайм» Докторова для журнала «Иностранная литература».

— Я отдал 21 год жизни «американскому университету», точнее, преподаванию руслита и своей собственной филконцепции мальчикам и девочкам (иногда и почтенного возраста) из разных штатов и стран. Университетский кампус для меня — самая естественная среда, но сейчас я уже подумываю об отставке. Где буду проводить больше времени, еще не знаю. Надеюсь, на родине все-таки не вырастет снова тот сапожище, что когда-то дал мне пинок в зад.

— Если бы ты не писал, что бы делал?

— Не знаю, что бы я делал, если бы не писал. Честно говоря, даже не представляю себе такой ситуации<sup>1</sup>.

2001 г.

<sup>1</sup> Сегодня 75-летний Аксенов — автор многочисленных книг, пьес и стихотворений. Его жизнь оправдала предчувствия, он всегда писал в этом виде — основной смысл жизни.



# Три интервью с главным редактором журнала «Октябрь» Ириной Барметовой

## 1. ОБЛИСКУРАЦИЯ АКСЕНОВА

Не ищите это слово в словарях — его там нет, как и слова «плентоплевательство». Их придумал Василий Аксенов для своего нового романа «Вольтерьянцы и вольтерьянки», полагая, сидя в саду своего дома. Роман писался три года, почти столько же Аксенов живет во Франции, на берегу Атлантического океана. Ранее обитал на другом берегу того же океана. В Биаррице — удивительном городе — до сих пор живут потомки Оболенских, Рябушинских, в русской церкви настоятель отец Георгий — кита-

ец, в совершенстве говорящий по-русски... Тут жили Чехов, Набоков... Но привела Аксенова сюда случайность. Путешествовал на машине по югу Франции и без особой цели заехал в Биарриц. Почувствовал особый дух города и тогда отвлеченно подумал, что хорошо бы здесь поселиться. В другой раз, первого января 2000 года, поезд привез Аксенова в ночной Биарриц. Город был пуст, светились лишь витрины. За стеклом одного агентства недвижимости висела фотография дома... А когда утром приехал смотреть его и увидел сад, мгновенно решил: «Все, буду здесь жить!» Может быть, этот сад пленил воспоминанием о другом, где стояла бронзовая статуя «Пушкин в возрасте Державина» — «ПввД», которую некий художник привез в дар Вашингтону: «Как сейчас вижу наши шумные завтраки. Народ спускается на кухню, расползается по комнатам и лестницам, иные с тарелками и кружками кофе выходят в сад, усаживаются вокруг Пушкина (скульптуру город не принял, она и по сей день стоит у меня в саду), все галдят о России... а я спускаюсь к ним, как благодетельный сюзерен, и стараюсь не обращать на себя внимания».

Живость повествования, обилие комических ситуаций, гротесковых образов, нагромождение невероятных событий, фантастических приключений, претендующих тем не менее на достоверное отображение реалии тех дней — все это присуще новому произведению Аксенова. Как говорил тот же Пушкин: «Улыбка, взоры, нежный тон красноречивей, чем Вольтеры, нам проповедают закон и Аристипов, и Глицеры». А еще автор виртуозно растворил в своем тексте цитаты, размышления, письма, суждения философа и Северной Семирамиды так, что поиски, кто что сказал и кто что придумал, станут делом увлекательным.

**ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ.** Несколько лет назад я читал книгу о переписке Вольтера и Екатерины Второй, там много было цитат из писем, которые звучали своеобразным диалогом очень близких людей, чуть ли не влюбленных, даже с некоторыми моментами ревности. И я подумал: сочинить бы в английском жанре *true stories which never happened* — правдивые истории, которых не было, — такую как бы анекдотическую историю с ощущением правдоподобия, наполнив

ее множеством достоверных деталей, не очень серьезную, как часто у меня бывает в начале, а потом углубить... Особенно меня пленяла идея встречи Вольтера и Екатерины. В реальности они не встречались, во всяком случае, мы не знаем об этом, а здесь императрица назначила бы философу свидание где-то в Европе и на свидание выехала на стопушечном корабле... И так, между делом, начал заполнять альбом, толстый такой, различными сведениями об эпохе, деталями, именами, убранствами мундира Семеновского или Преображенского полков, выражениями, какими-то эпиграммами. Заполнил один, потом второй альбом: то так напишу, то поперек страницы, то косо, — в общем, набралась куча всего. Прочитал дневники Екатерины, которые, к сожалению, так быстро обрываются, серьезный фундаментальный труд супругов Дюранов — «Век Вольтера», без него я бы вообще не написал романа. Какие-то стишки вольтеровские переводил... Все это накапливалось, накапливалось — вдруг появлялся кусок прозы, например, выход линейного корабля в море... Потом перескакивал к другому. Пока не почувствовал: можно начинать последовательное повествование. Сначала возник

зрительный образ — двое юношей в треуголках, натянутых на брови, мчатся по обледеневшей дороге — тата-тата-тата, — они уже слились с конями, разбивают лужи замерзшие, закат над Северной Европой, на закате — тонкий месяц, все это такие видения Европы, и они скачут, скачут... Потом появились, как ни странно, клички лошадей — Тпру и Ну, потом иностранные — Антр-Ну, Пуркуа-Па — значит — они с фальшивыми французскими документами. И так вот два мальчишки стали секретными агентами...

**ИРИНА БАРМЕТОВА.** *Это похоже на игру в роман.*

— Вот именно — просто повествование, сочинительство. Никаких заранее подготовленных идей, планов, интересовало лишь, что получится с этим материалом в результате моей конструктивной такой деятельности. И это был главный кайф работы. Я не знал, что будет на следующей или через десять страниц.

— *В результате этой деятельности получился старинный роман, по авторскому опре-*

*делению... Одним из героев которого, причем полноправным, является язык повествования. Он с самого начала властно заявляет о себе, удивляет и притягивает. В нем — сочетание в стиле рококо архаики с языком допушкинской поры, щедро сдобренным калькированными французскими оборотами и словами... Коктейль, из которого, может быть, и вырос современный русский язык?*

— Да, самым страшным для меня было — найти язык. Иногда я был на грани того, чтобы бросить все это. Потом все-таки удалось поймать интонацию, в которой можно было использовать архаику и в то же время наш день туда встроить.

— Язык, как и полагается герою, в течение всего романа меняется.

— Потому что по сюжету прошло сорок с лишним лет, и язык начала девятнадцатого века уже другой. А потом, в романе много о Вольтере, и надо было учесть его манеру речи. В сравнении с современным французским он говорил очень

витиевато, с невероятными любезностями и преувеличениями. Примерно так, как сейчас французы завершают свои письма: «Примите мои уверения в совершеннейшем почтении»...

— *Да, все эти гламурные штучки.*

— Эти гламурные штучки у него естественны, когда он обращается к Екатерине: «льщу себя мыслью», «ласкаюсь увидеть вас», «повергаюсь к ножкам невиданной красоты», «ваши ручки известны всей Европе» и так далее и тому подобное.

— *Приведенные в романе вольтеровские письма тонально для современного читателя приторно льстивы. Но Вольтер не был льстецом?*

— Вольтер льстецом был. Невероятным льстецом. И в романе я не преувеличиваю, а лишь привожу оригинальные тексты, над которыми трудились переводчики императорского двора.

— *Может быть, это такая дипломатическая хитрость Вольтера?*

— То ли это хитрость, то ли естество... По-моему, все же это было его естество.

— *Как же лесть могла сочетаться с иронией, вольнодумством, сарказмом Вольтера?*

— В этом-то и сложность его личности. А еще, надо вам сказать, Вольтер, если выражаться современным языком, был немыслимым пиарщиком. Он обладал грандиозными связями в аристократическом мире и уж никак не упускал возможности умело пользоваться ими.

— *Вы хотите сказать, что философ знал толк в бизнесе?*

— Еще как! В определенный момент своей жизни он понял, что должен стать богачом. Премьера «Семирамиды» принесла четыре тысячи ливров — серьезные деньги по тем временам, и он сразу отдал деньги в рост. Через «нужных» людей доставал подряды для армии, поставлял в армию сукно, провиант, что-то еще и колоссально разбогател. И все это сочеталось в нем с искренним огромным вниманием к униженным и



оскорбленным, с борьбой против лицемерия...  
Ecrasez l'infame.

— *«Раздавить гадину» — так у нас переводили это вольтеровское выражение, мне понятнее все же «Раздавить лицемерие».*

— «Раздавить лицемерие» — намного шире, потому что направлено было не только против церковников, религиозного фанатизма, но и против сословий...

— *Однако Вольтер родился в зажиточной буржуазной семье.*

— Вольтер был сыном нотариуса — в те времена очень средний класс, вначале Вольтера не жаловали в высшем свете. Помните случай, когда в ложе театра на пренебрежительный вопрос одного аристократа, как там вас называть: Аруэ, что ли, или Вольтер? — Вольтер ответил: мое имя начнется со мной, а ваше засохнет с вами.

Во Франции тогда было принято, чтобы поэта приглашала к себе на проживание какая-нибудь

покровительница-аристократка. Когда Вольтер находился при «дворе» маркизы дю Шатле, внешне казалось, что она его содержит. Но на самом деле ее муж, маркиз дю Шатле, отдал им развалившийся замок в Сирэ (Шампань), который Вольтер отремонтировал, обставил и жил в нем на свои деньги. Маркиза была мотовка, он покупал ей платья, платил ее бесконечные карточные долги и прочее и прочее, обожал ее.

«Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она одна делает больше добра, чем они вместе взятые. Она не допустит ни малейшей несправедливости даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только об его добром имени, ибо ничто так не подвигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить».

*Вольтер.*

*«Мир, каков он есть»*

Счастливейшие годы пребывания в замке сильно пошатнули его состояние.

— *Вольтер у нас порядком подзабыт, на нем незаслуженно лежит печать чего-то скучно-затупавшего, хотя философствовал он как бы мимоходом, шутейно, чем и восхищался Пушкин.*

— У меня такое ощущение, что он и сам говорит: «Я не настоящий философ». Он им и не был. Монтескье, Дидро — философы. Д'Аламбер — человек колоссального интеллекта. А Вольтер немножко поверхностный такой... Но он был демиургом. Мне захотелось, что называется, освежить представление о нем. Сказать, какой он был неотразимый человек огромной созидательной силы. Ему никто не мог отказать, все аристократы бросались ему служить, народ распрягал его экипаж и тащил на себе карету — так все безумно его любили. Откуда бы это все взялось, если бы он был скучным? И поэтому у меня он вспоминает свои любовные дела, и своих друзей, и мадемуазель Лепинас, и Эмили дю Шатле. Кстати, Эмили была далека от идеала красоты того времени и считалась в ту пору уродиной. Так вот, я написал эпизод, как дю Шатле входила в блистательном макияже, в бриллиантах и в шуршащих юбках, которые так

резко отбрасывали ее ноги. Вольтеру казалось, что она шла по какому-то помосту, то есть дефиле. Это — современная красавица высокого роста с длинными ногами.

*— Не только эта красавица подиума кажется нашей современницей — 70-летний Вольтер у вас предстает не стариком восемнадцатого века, а личностью с феерической харизмой. В принципе, если какому-то политику или писателю сейчас создавать имидж, то следовало бы многое позаимствовать у Вольтера.*

— Да, это модель в какой-то степени. Нам не хватает такого, как Вольтер. Не вождя, который поведет за собой армии, а вот духовного лидера, который сдержит и революции своим обаянием, и будет чувствовать социальную справедливость, и будет просвещенным, элегантным человеком с большим чувством юмора. Эпатажным, да, забавным, то есть смешным, как Вольтер, который ходил на своих каблучках. Но, увы, нет даже намека на такого человека в нашем обществе. Александр Исаевич хотел, конечно, стать властителем дум, но вообще время властителей дум

прошло, литература сейчас не может состоять из властителей дум, это совсем другое...

— *Но Вольтер не был литератором в чистом виде...*

— Не был, скажем, романистом. Он написал один роман, вся остальная проза — это «parables», то есть притчи. Либеральные притчи с намеками, с массой подтекстов, контекстов именно политического, вольнодумного характера, страстные трактаты о толерантности, написанные всегда легким, общепринятым языком.

— *Действие романа происходит в 1764 году, когда Екатерина только-только взошла на престол и решалась дальнейшая судьба России. Вольтер видел в Екатерине молодого монарха, в котором можно развить республиканский дух, привить либеральные идеи для создания гармонического общества. Сейчас в который раз (!) решается судьба страны и судьба либеральных идей.*

— Поразительно, но та ситуация совпадает с сегодняшним днем, с нынешними разговорами

о создании либеральной империи. Во Франции «философы» разрушали религию и в то же время боялись революции. Надо сказать, они никогда не думали, что победят: в 60-е годы они просто обалдели, когда вдруг увидели, как широко распространился нигилизм. Кстати, хочу заметить, как меняются понятия. На Западе вольнодумец — это всегда атеист, при советской власти вольнодумец — это верующий. Так же нигилизм. Нигилистом в Европе был человек, отрицающий материю, но стоящий на стороне идеального понимания жизни. А у нас в 60-е годы XIX века нигилист — это Базаров, который стоит только на стороне материи, — полностью противоположное понимание. Конечно, Вольтер и Дидро надеялись на либеральную империю. Они видели в Екатерине идеал правительницы. И потом она была прежде всего женщиной, двухсотпроцентной женщиной, и это как-то влияло на все. Если вы заметили, в романе к ней ластятся животные: коты, собаки, птицы... И так было в действительности, меня просто это поразило: лошади ее обожали, не говоря уже о мужчинах, — мужчины ее очень любили. Это был не просто разврат. Всякий раз она по-

настоящему влюблялась, императрица могла босиком пробежать по всем анфиладам дворца к любимому... Такой вот тип правительницы. В общем-то России безумно повезло: семьдесят пять лет из ста в XVIII веке правили женщины. После чудовищного мужского хамства и кровопролитий, непрерывных войн появились такие, пусть несовершеннолетние, и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна, и, наконец, Екатерина — это уже следующий этап.

— *Если Елизавета Петровна пригласила в Россию Растрелли, то о Вольтере не желала и слышать...*

— Елизавета была менее образованной, более импульсивной. Она не обладала аналитическим умом. Хотя тоже была женственна, скажем, велела отменить смертную казнь, пытки еще оставались. Екатерина всегда была против пыток. Когда честолюбивый офицеришка Мирович, пытавшийся вызволить Иоанна — узника Шлиссельбургской крепости, оказался в руках правосудия, должно было неминуемо пройти дознание. Встал вопрос: применять ли пытки?

Вот это и вызвало страшную внутреннюю борьбу Екатерины. Панин ждал, что Екатерина скажет: никаких пыток! А она говорит: это целиком оставляю на решение Сената. Аристократы были шокированы, считали это позором. Противоречие это терзало ее в течение всей жизни: запросы либеральной души и требования империи.

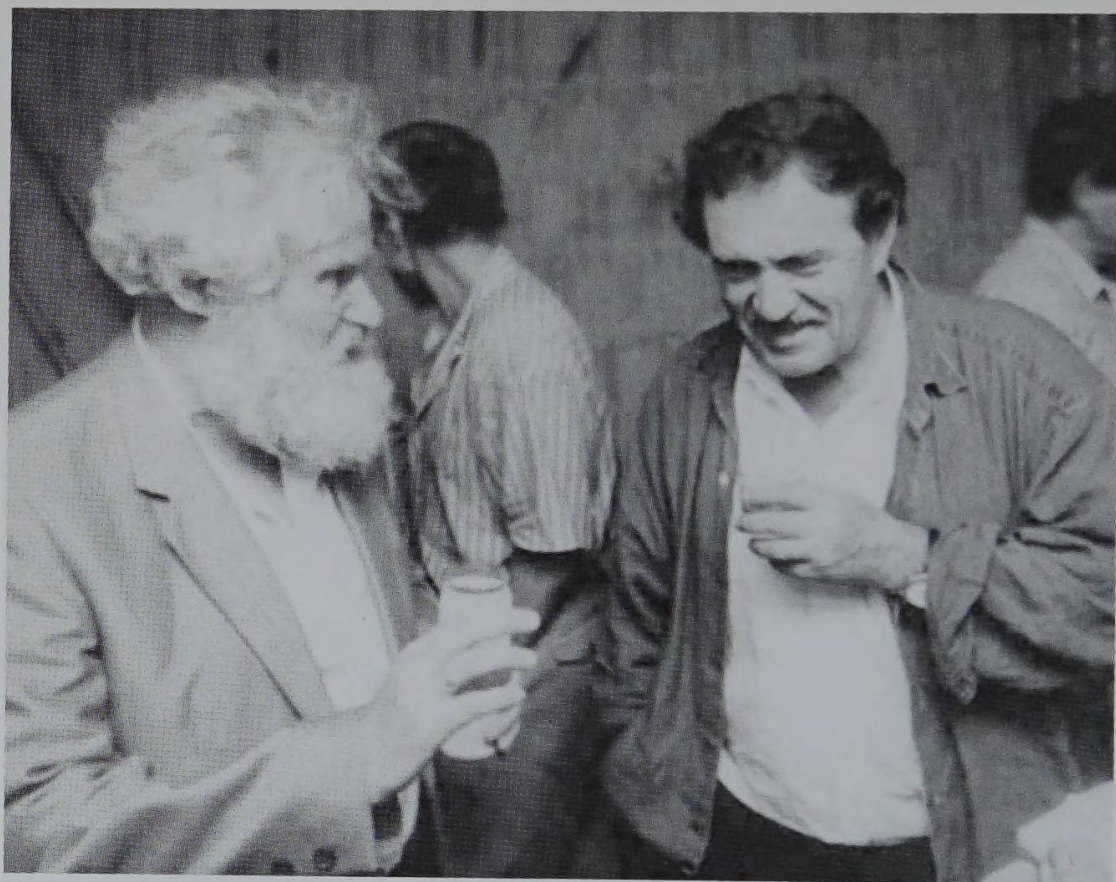
— *Зло в романе предстает всяческой чертовщиной — то птицей пролетает, то кошечкой-мышечкой пробегает, то существами бестелесными шуршит... И это вначале даже забавляет и не кажется столь угрожающим и разрушительным для героев. Перекликается ли ваше представление с Вольтером, который в «Кандиде» не оставляет никаких иллюзий — зло неодолимо?*

— Зло неодолимо, но, помните, последние слова Кандида: *il faut cultiver notre jardin*. Все-таки сквозь все ужасы он приходит к маленькому садику, который надо возделывать. А чертовщина и Пугачев рассматривались во всей Европе, и не без причины, как результат духовной революции, подготовленной энциклопедистами. На самом деле, конечно, Пугачев и не знал о

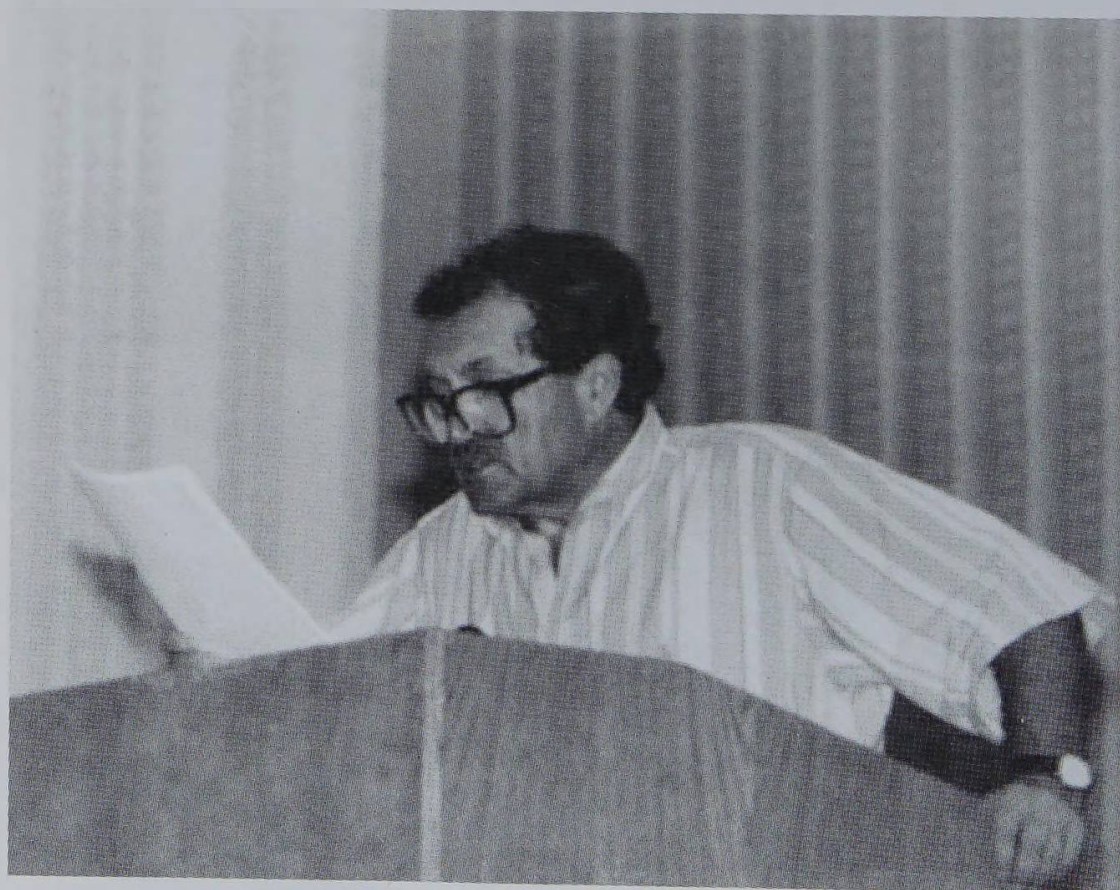








Встречи в Керчи. 1992



Выступление на конференции в Керчи. 1992



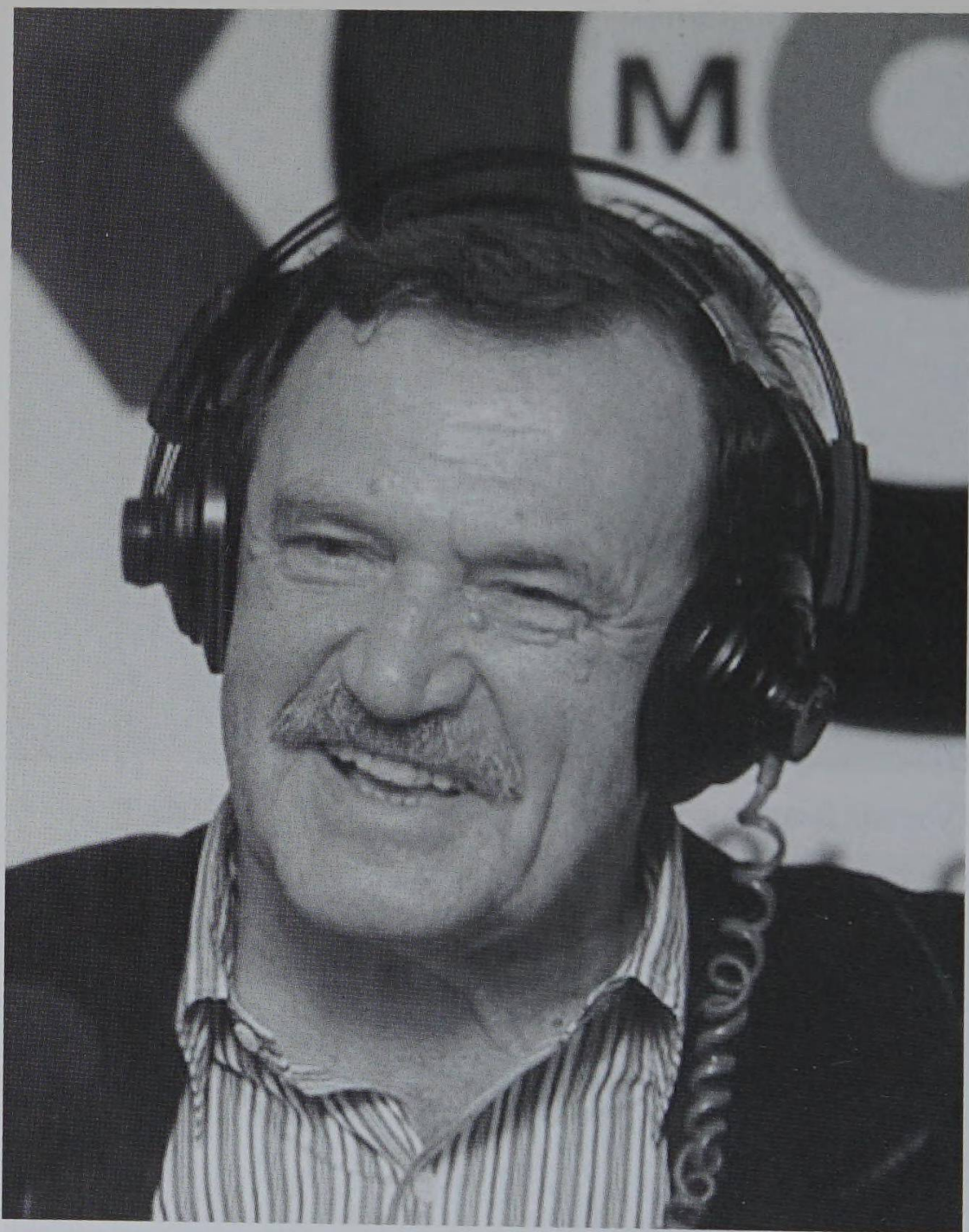


Суровый Довлатов. Встречи в Нью-Йорке. 1980



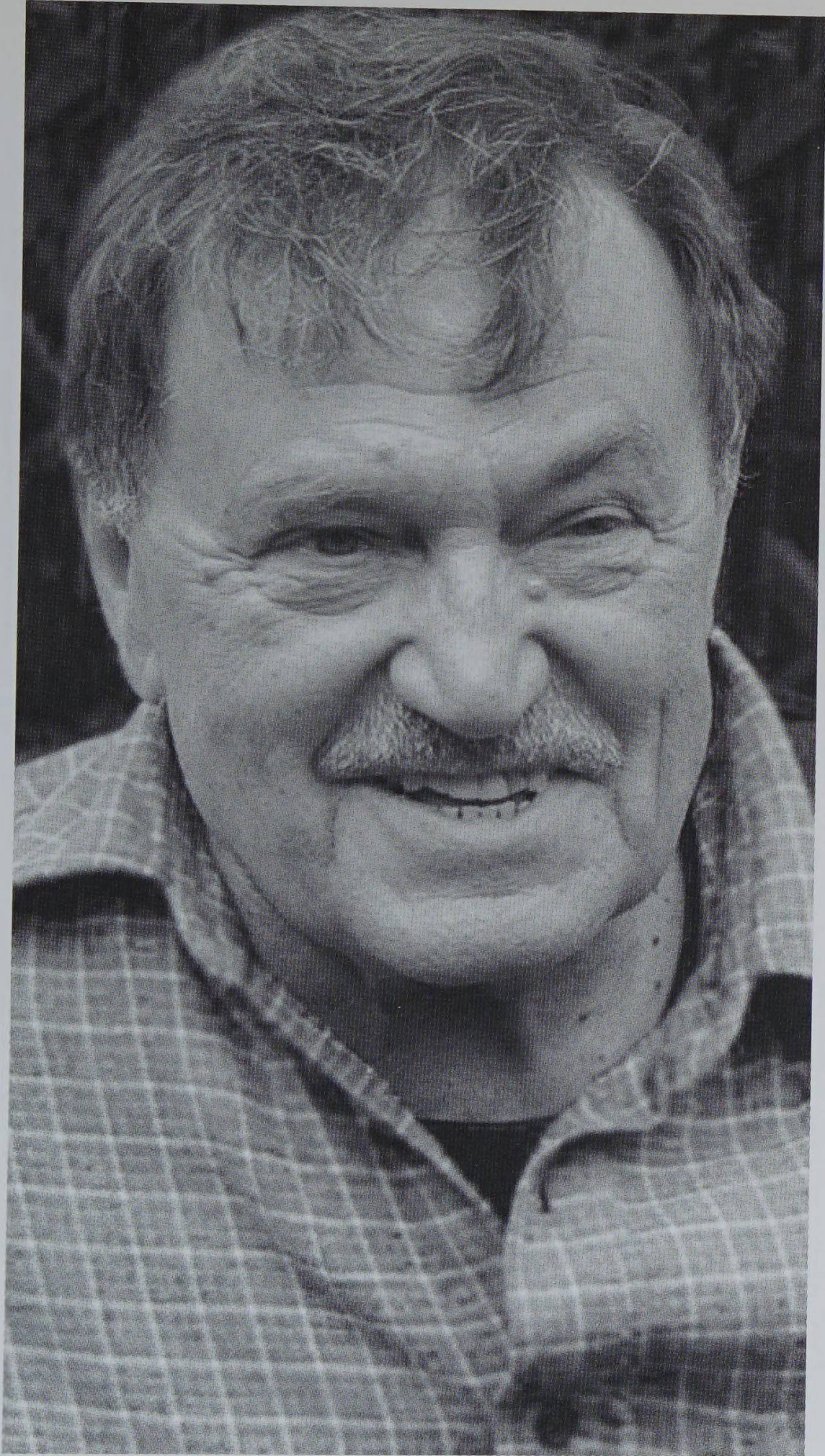
Босфорская конференция в Керчи. 1992





«Эхо Москвы»



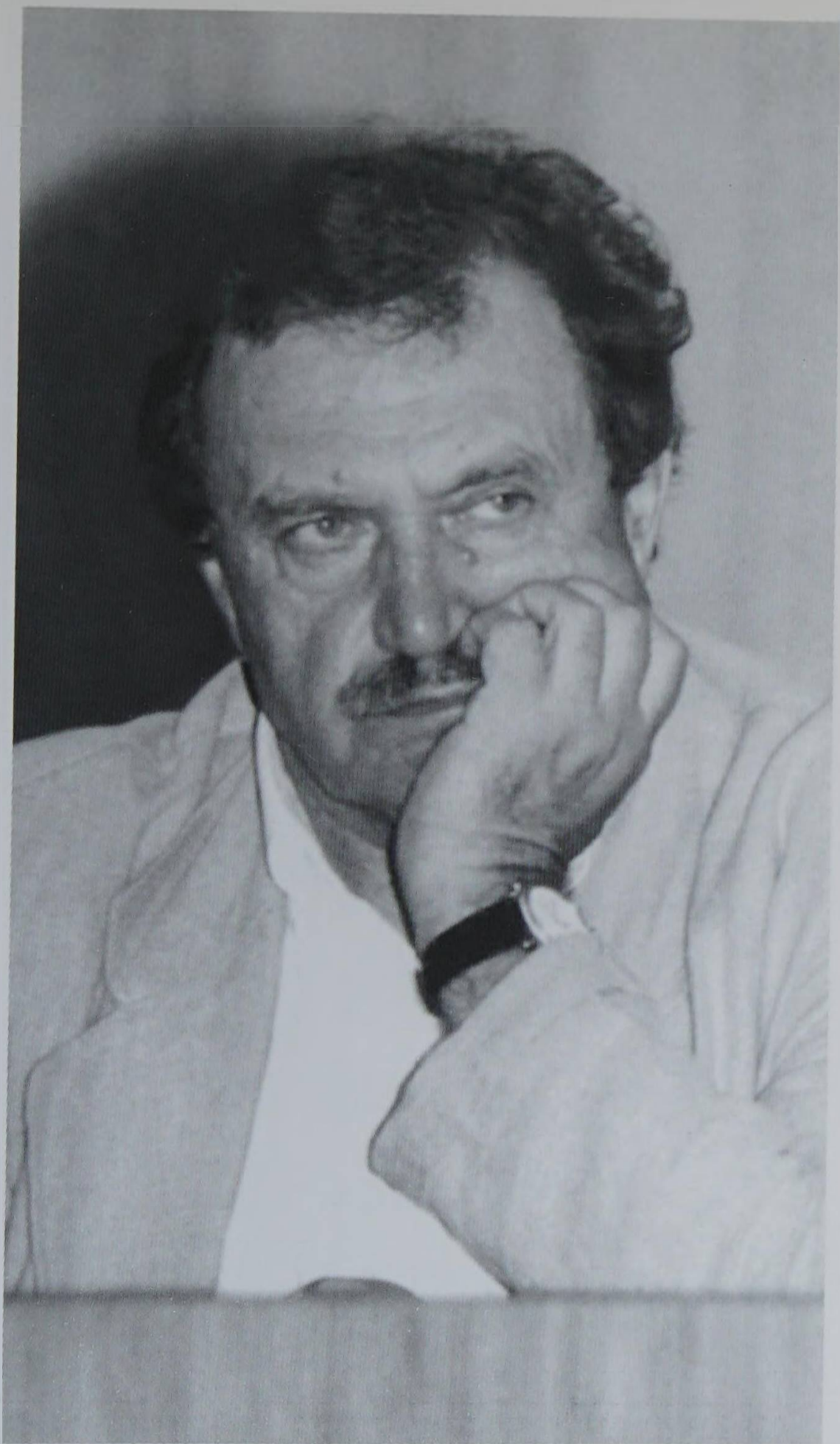






В рабочем кабинете. Москва. 2006







Аксенов убеждает











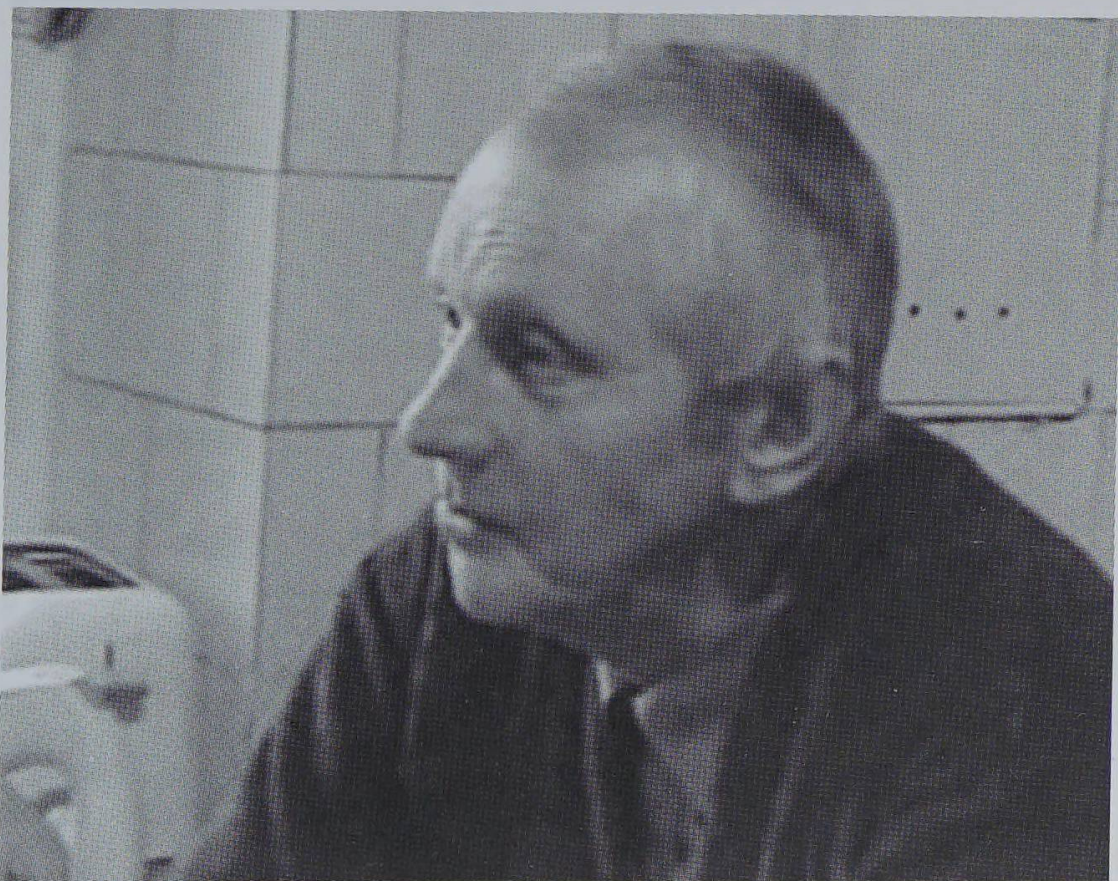
С мэром Казани И. Метшиным. 2007







Беседа с Владимиром Мощенко на кухне. Москва. 2004











Почетный диктор Казанского университета. 2007



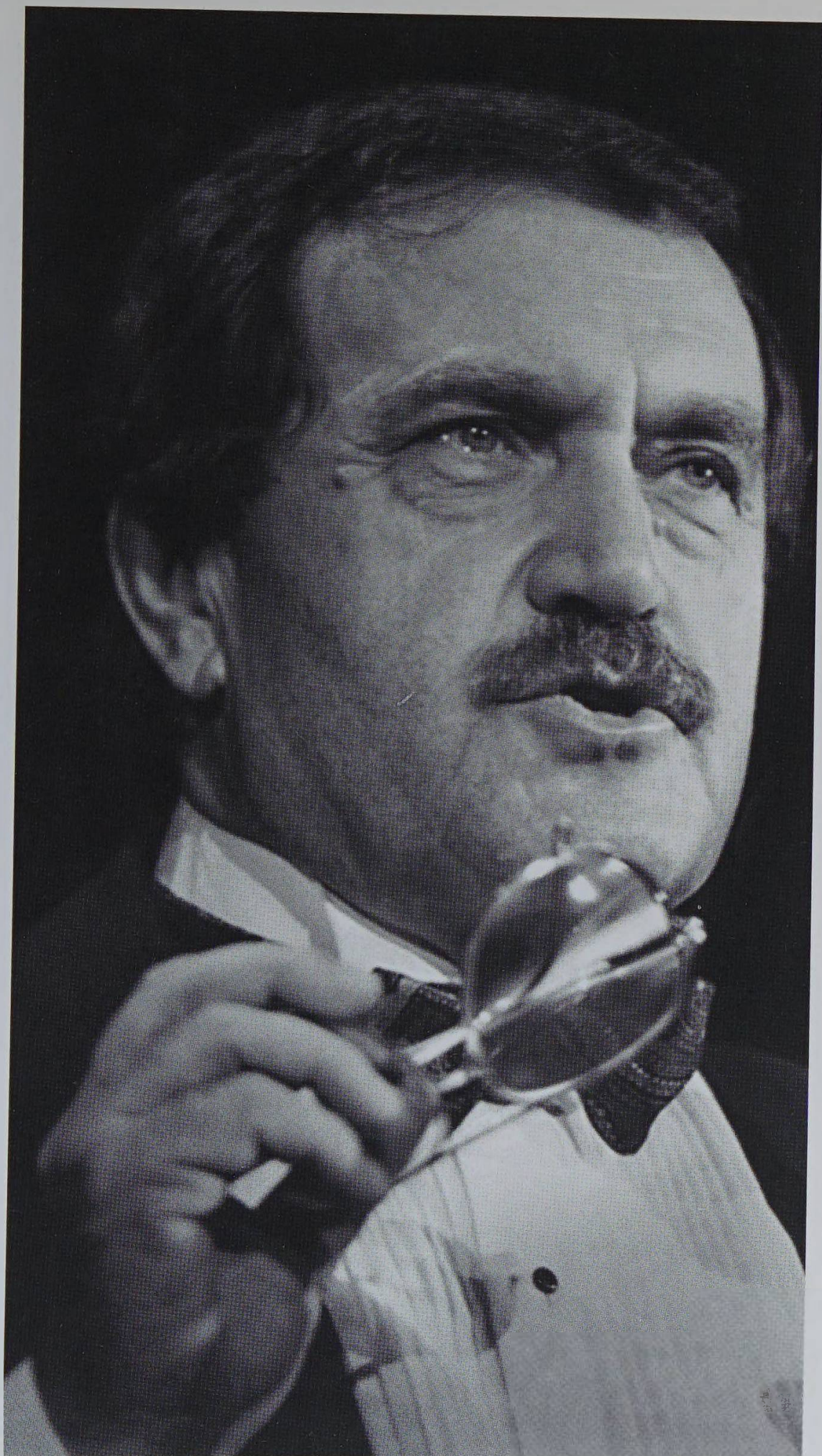
С Олегом Табаковым





С Эдвардом Радзинским









них, но я его нарочно внедрил в криминальную среду, действующую в романе: то ли он, то ли не он — Казак Эмиль, то ли страшная рожа с клыками — Барбаросса, понимаете, «план Барбаросса», — все это ассоциации.

*— Как была придумана вся история встречи Вольтера с Екатериной?*

— Вообще сначала я думал написать просто: как Екатерина приезжает, такая вот дама прекрасная входит — и все. А потом что-то мне стало от этого неудобно. Вспомнилось, что тогда очень увлекались маскарадами, была странная такая вещь — андрогинность петербургского двора. Елизавета приказывала кавалерам приходить в дамском одеянии, а дамам — в мужском. Сама очень любила носить мундиры. Екатерина то же самое — безумно любила переодеваться. И как-то призналась, что она в таком виде объяснялась в любви одной даме.

«После коронации в 1763 году были маскарады как при дворе, так и у Локатели. В одном из них надела я офицерский мундир и сверху онаго

розовую домину и, пришед в залу, стала в круг, где танцуют. Княжна Настасия Сергеевна Долгорукова, оттанцовав, остановилась предо мною и начала хвалить ей знакомой молодую девицу. Я, позад ея стоя, вздумала вздыхать и половину голосом, наклонясь к ней, молвила: «Та, которая хвалит, не в пример лутче той, которую хвалить изволила». Она, обратясь ко мне, молвила: «Шутишь, маска; кто ты таков? Я не имею честь тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?» На сие я ответствовала: «Я говорю по своим чувствам и ими влеком»... Она спросила: «Маска, танцуешь ли?» Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать, и во время танцу я пожала ей руку, говоря: «Как я щастлив, что вы удостоили мне дать руку; я от удовольствия вне себя». Я, оттанцовав, наклонилась так низко, что поцаловала у нея руку. Она покраснела и пошла от меня. Я опять обошла залу и встретилась с нею. Она, увидев меня, сказала: «Воля твоя, не знаю, кто ты таков». На что я молвила: «Я ваш покорный слуга; употребите меня к чему хотите; вы сами увидите, как вы усердно услужены будете»...

*Записки императрицы*

*Екатерины II*

Это — не просто переодетая Екатерина, это — некий мускулинический фантом, ее мужское «я». В романе также переодеваются, чем создается атмосфера двусмысленности: вроде бы все любовники всех, все смущаются — как это произошло — и с кем они были, не совсем понимают. И Вольтер ловит себя на мысли, что влюблен в Фон-Фигина. Влюблен и очень боится этого. Ему в Сан-Суси Фридрих, совершеннейший гомик, подсовывал своих адъютантов, и очень разочаровался, когда тот не соответствовал... А тут нате — безумная страсть к мужчине... Вот такая началась игра. Это, конечно, маскарад, сомовский маскарад.

*— А можно это представить и как заигрывание с читателем.*

— Нет, нет и нет! Мне тоже приходило на ум, что могут подумать о некой спекуляции. Но надо все время иметь в виду — это женственный век. С одной стороны, он приносит либерализм и терпимость, а с другой — вот такие странные ситуации, курьезные даже. Соединение полов, когда мужчины носили драгоценности, завивались,

пудрились, даже солдаты отращивали длинные косы, заплетали, салом намазывали — и вот так сражались... Почему, откуда это все взялось? Причем далеко не все были определенной ориентации, абсолютно нет, но вот такой стиль, мода. Это — выражение женственного века. Потом это стало не так явно. Трудно сказать вообще, что такое гомосексуализм. До сих пор это не понято человечеством и как он распространялся. Ведь нельзя сказать, что с развитием цивилизации все больше, больше. Напротив, в древнем, античном мире его было гораздо больше.

— Конечно, в Греции, в Риме...

— А потом настало царство суровой религии, а его стало меньше, да?

— Внешне — может быть.

— Ницше говорил, мы — «гомо сапиенс» — переходная раса, не окончательное развитие человека. Что следующий — «человек будущего» — появится. Он имел в виду не сверхчеловека, а следующего человека. Не исключено, что

тогда не так четко будет выражено различие полов. Вот в моем романе Вольтер, когда преобразился в дерево, спрашивает: «Где ты погиб, Миша, в каких боях?» И тот отвечает: «В бою между духом и плотью». Плоть, как всегда, победила. Та самая мысль, которую вложил когда-то Вольтер в душу Миши, о смехотворности нашей любви: почему Господь не дал нам какого-то другого выражения любви? Почему за любовью обязательно стоит такой ридикюльный акт?.. Вот эта вот плоть, тяга плоти, не будь у Михаила этой Маланьи, он бы пожил лет десять, правда? А тут вернулся из Польши с деревянной ногой муж Маланьи...

— *Когда вы сейчас так рассказываете, получается слишком просто, а в романе это звучит роком.*

— Это рок и есть. Потому что все в сочетании: такая метафизика драматургическая, физическая драматургия.

— *Авантюрный сюжет, элементы плутовского романа и гривуазной новеллы продиктованы не только XVIII веком, но и самим Вольте-*



*ром, для которого «все жанры хороши, кроме скучного». Без диалога Вольтера и Фон-Фигина в романе осталась бы прелесть приключений и безудержной фантазии, но был бы утерян главный смысл написанного. Вы не боялись так много места уделить философии?*

— Нет, философия проходит через весь центр романа, где идут дискуссии, в день встречи Вольтера и Фон-Фигина. Здесь и черт появляется, объявляет себя атеистом и требует у Вольтера не увиливать и объявить, что Бога нет. А тот не может этого. В общем, здесь основное столкновение взглядов, идей, возникающий ужас лиссабонской катастрофы 1755 года, циничных разговоров в салоне мадемуазель Лепинас. Я очень долго с этой главой возился, уже все было закончено, и только тогда я стал ее выстраивать.

— *Живописные описания русских имений — с чего начинается родина — это лишь вымысел?*

— Реальность. Я описал наше родовое, с папиной русской стороны, село — Покровское,

Рязанской области. Огромное село такое, раскиданное на холмах. Как при царе Горохе, так и сейчас стоит, по-моему, без особых изменений. На холмах было много усадеб помещичьих: там не один был помещик, много. Когда я первый раз приехал туда с отцом в начале 60-х, мне рассказывали, что на одном холме, вот тут вот, барин пустил лебедей в пруды, там беседки построил... все стояло, как одно целое. Электричества не было, воду из колодца поднимали журавлем... пьянка безумная какая-то... родственница Таня утром нам с отцом выносила яичницу из двадцати яиц и бутылку мутного такого самогона. На наши возражения отвечала: «Вы же на отдыхе...» В избе — корова, куры... Вот я и стал представлять, как жили эти самые Миша и Коля, эти помещики, в Покровском. В романе и название села осталось. Их много, тысячи покровских есть в России, но именно эта глубинка описывается мною, и речка Мастерица, и все-все. И вот оттуда взялись эти юнцы.

*— Эти юнцы — молодые аристократы — абсолютно новое поколение, с которого в общем-то и начались идеи русского европеизма.*

*Отличительное поколение во времена Вольтера называлось во Франции «шестидесятники», а через двести лет — вновь «шестидесятники», уже в России. Такая параллель — случайное совпадение или продуманный ход?*

— Все спонтанно возникало и закручивалось...

— *И что, «шестидесятников» всех веков и народов всегда неминуемо ждет разочарование?*

— Мне кажется, что век Просвещения еще не кончился на самом деле. Пока — мы на развалинах утопии, зародившейся в вольтеровское время. Мы еще не избавились от нее, мы только проходим через различные ее фазы. Возьмем, скажем, время возникновения Советского Союза. Французские философы, поэты, сюрреалисты 20-х годов XX столетия были чистейшими вольтерьянцами, и они аплодировали со своей колокольни Советскому Союзу. Все — Андре Бретон, Луи Арагон и прочие — были страшными поклонниками этой реально вдруг возникшей

утопии. Франция не смогла, а вот там, в России, все-таки возникло царство разума, чистого разума. Поэтому для них, для этого направления ума, гибель этой легенды, а потом и всей утопии было крушением основных ценностей.

*— Они быстро оправились и теперь говорят, что большевики в процессе реализации их ценности извратили.*

— И большевики извратили. Но тем не менее интеллигенция тоже уходит в метафизику — и во Франции, и везде. Единственная успешная революция XX столетия — это революция в искусстве. Она вдруг показала иные измерения видимого мира, о которых не догадывался никто: близость видимого и невидимого миров. Пересечение этих миров. И новокантианский взгляд на предметы вообще. Живопись, предположим, атональная музыка, новая литература — образная система совершенно иная. Вот это уже сдвинуло с точки некоторой схематичности, которая была у Вольтера. В его толковании хотя бы священных книг, священных писаний. Вольтер всегда высмеивал непорочное зачатие. А одна из моих героинь

говорит, на мой взгляд, большую мудрость: любое зачатие — непорочное. В самом зачатии есть сакральный момент... Среди порока, среди свального как бы греха, в организме любой шлюхи — не шлюхи, черт ее знает какой оторвы, происходит вдруг что-то священное...

— *После советской власти была еще одна попытка...*

— А вообще есть ли какой-либо смысл во всех этих попытках, или это просто бессмысленная, кровавая, чудовищная история — и все? С моей точки зрения, есть только один определенный смысл существования человеческой расы — это ее попытка самоусовершенствоваться. Я, кстати, в романе пытаюсь дальше развить то, что сказал в «Новом сладостном стиле» — об эволюции и творении. Идея творения и идея эволюции не противоречат друг другу. Эволюция — просто часть творения. Творение произошло, Адам ушел в прах, стал подниматься из праха, поднимался неисчислимые миллионы лет, а не шесть тысяч лет, превращаясь в каких-то там рептилий жутких, летя в виде птеродактиля и так далее, и так

далее — это все путь Адама. Это превращение Адама в человеческую особь. Миллионы лет проходили монотонно так, без представления о времени. А сейчас счет пошел уже на сотни.

*— Но разве Вольтер не делал попытку совершенствования человеческой расы?*

— Вольтер был необходимым ферментом человеческой цивилизации. Именно Вольтер. Хотя его можно представить как безобразного атеиста, предтечу фашизма, коммунизма и так далее и тому подобное. А можно представить как очистителя религии от лицемерия, необходимой личностью, которая продолжит, так или иначе, поиск. И, в общем, негативный-то опыт тоже весьма важен именно для движения человеческого духа, и даже движения человеческой идеологии, в каком-то намеченном, непостижимом еще для нас направлении. И в этом есть содержание пути Адама — пути самоусовершенствования.

В наши дни некоторые изменения тоже можно заметить. С одной стороны, чудовищный терроризм, когда темные силы ада действуют, направляя людей от жизни к смерти, глухой, чер-



ной смерти. А с другой — гуманитарные акции. Кого когда-нибудь волновало в XVIII веке, что Африка умирает с голоду? Сейчас это безумно волнует всех.

— *А там все равно умирают.*

— Умирают, но тем не менее туда направляются гигантские какие-то эскадры, эскадрильи с едой, с одеждой, с медикаментами. Мир сейчас планетарно озабочен проблемой избавления от СПИДа... Спасение, благотворительность. В этом есть некоторые моменты пути Адама: дальнейший отход от животного начала к духовным ценностям.

— *Как прежде бранным было слово «вольтерьянец», так ныне раздражает понятие «интеллигент», которое заменяется понятием «интеллектуал»...*

— Интеллигенции мало вообще осталось... Потом какая она была, интеллигенция? Даже в конце XIX века. С одной стороны, остатки позитивистов, из них вышли большеви-

ки. Большевики — это и есть выражение вот этой интеллигенции. Большевики на самом деле — вообще люди XIX века, не XX. И Ленин почувствовал, что промахнулся, что уже в вагон XX века со своей революцией не вскочить. В XX век со всеми его физиками, математиками, теориями относительности, футуристическими выставками, абстракционизмом, философией экзистенциализма. Он не понимал всего этого, он был в ужасе, что они пропустили свое время, свою революцию. Его спасла Первая мировая война, потому что она затормозила XX век. И тогда он уже не в том, а в другом, в plombированном, вагоне приехал. Но это была власть XIX века, власть позитивистов, власть Чернышевского, Писарева... Интеллигенция сейчас должна быть другой по сравнению, скажем, с XIX веком. Вот мои герои Коля и Миша — предтечи байронизма в России — были отцами декабристов. Декабристское восстание — не что иное, как восстание байронитов, а уже за байронической фазой образовалось за пару десятилетий то, что мы называем русской интеллигенцией. Это властители дум, такие народовольцы, хождение в народ, большие

такие прагматисты, в общем-то, атеистический такой мир, позитивисты, короче говоря. Это, я думаю, противоречит байроническому складу. Поэтому, мне кажется, если в России новая интеллигенция начнет возникать, она будет все-таки не позитивистской.

— *Неужели байронической?*

— Опять байронической. Даже у таких людей, как олигархи, проглядывают черты байронизма. Посмотрите, одному из них дают возможность бегства, он отправляется в тюрьму. Другой приезжает на территорию фактически Советского Союза под именем Платон Еленин. Разве это не байронизм?

— *Допустим, это первый признак героя-романтика, но разве данному байрониту не присущ практицизм?*

— Практицизм присущ, но для достижения своих байронических утопий. Он же не одержим производством денег. Он делает их, но у него совсем другие идеи, куда их употребить. Он че-

ловек утопического склада ума. Если говорить об интеллигентах, то я не думаю, что это будет какая-то определенная модель. Ведь предположим, мы прошли через такое наивное движение неофитов в 70-е и 80-е годы, когда многие интеллигенты уходили в религию, полагая, что, если вернется религия, мир будет совершенней. А сейчас мы испытываем серьезные разочарования в ортодоксальной религии. Она, к сожалению, становится слишком официальной.

— *Ну хорошо, возникнут байронические интеллигенты, и что они смогут сделать? Привить аристократизм духа?*

— Пожалуй. Они смогут создать новую атмосферу. Новую атмосферу жизни. Наш народ еще, прямо скажем, темный вообще-то. Ему до сих пор кажется, что за границей какие-то чужие совсем люди, для них гораздо ближе какой-нибудь хам, областной глава администрации, чем бизнесмены, финансисты, гуманитарии, благотворительные общества. С опаской смотрят на другие конфессии, экуменизм очень далек от них. Опять вера подменяется ритуалом веры, но

не потащишь же всех за уши к философии. Хотя ощущение священности и таинственности необходимо развивать... То есть не развивать — культивировать, как сад.

*— Как говорят, по некоторым оценкам, десять миллионов разделяют в России либеральные идеи. Эти миллионы людей после выборов оказались за бортом...*

— При таком поражении, как вот мы испытали на думских выборах, сами виноваты, между прочим, уж думаешь, что администрация нынешняя и эта партия «Единая Россия» — все-таки еще сдерживающий момент перед нахрапом людей нацистского толка, нацизма. Другого сдерживающего момента уже нет. В общем-то, я не политик, но мне кажется, нужно создать какую-то единую сильную партию. Назваться «Союзом правых сил» — значит, обречь себя на поражение неминуемое, ну «Яблоко» — это еще непонятно, вкусно — можно куснуть, да? А «Союз правых сил» в сознании миллионов и миллионов людей — это значит союз буржуев с огромными животами и зевами. Этот стереотип жив до сих пор. Они

вовсе не правые. Нас, например, в Советском Союзе называли левыми. Левые, фронтеры. Они должны быть фрондерами. Левыми не надо себя называть, но они либералы и демократы. А у нас либерально-демократическая партия — это партия Жириновского. Украли название еще при Советском Союзе — такой сатанински хитрый, дальновидный проект КГБ. И он сейчас всю функционирует. Функционирует, отвлекая людей от настоящего либерализма, от настоящей демократии. Надо придумать партию, в которой не было бы среди лидеров амбициозных людей, отрицающих всякое содружество ради победы идей или не победы, хотя бы существования... И кто лидер? Может быть, какая-то новая креатура. Во всяком случае, в одном я согласен с Чубайсом — это не разгром, а поражение в одном сражении. Думаю, что, как ни странно, и правящая партия может быть в некоторой степени гарантом существования оппозиции. Потому что, если придут разноглазьевы, будет очень неприятно. Вообще ситуация неприятная... Все эти разговоры о величии, всегда подкрепляемые каким-то милитаризмом. А величия можно ведь и без армии достичь. Почему так или иначе, но



все время мы и НАТО — враги?.. И все же тоталитарный мир всегда слабее либерального. Хотя это звучит парадоксально. Потому что он, как в анекдоте, «сильный, но легкий». Его можно выбросить в окно. И он рассыплется. А либерализм обладает какой-то вязкостью. Его вот вроде забили, вот как сейчас у нас забили, и пребывает он в ничтожестве, а потом начнется опять.

*— У вас есть рассуждение о возникновении времени: время наступает после изгнания из рая. Мы идем, и мы никак не можем ни вернуться в рай, ни создать его, мы просто идем по пути изгнания из рая.*

— Но когда мы придем или когда мы вернемся, — время остановится.

*— А что за Пушкин-курьер блуждает у вас по Европе?*

— Какой-то родственник поэта. Он потерялся в Вене, его искали Воронцовы, Шувалов. Негодовали: куда пропал Пушкин? Ему совсем нечего было делать в Вене. У меня есть потрясающая

книга «Письма к Вольтеру», изданная просто на европейском уровне Академией наук СССР в 70-м году. Я купил ее в русском магазине в Вашингтоне. Вот Пушкин оттуда взялся.

— *Ваш друг мне поведал, что ваш любимый поэт Пушкин.*

— Да, я люблю Пушкина.

— *И, кажется, даже кот у вас в доме...*

— Это пес тибетской породы. Когда жена увидела его впервые, он был без шерсти, совсем голенький, только бакенбарды висели. Она ахнула — да это же Пушкин! И так сразу и приклеилось.

— *Я ошиблась, но все же кот был и звали его — Онегин, а его хозяин — одинокий Стас Ваксино.*

«Вновь мы остались вдвоем с Онегиным в огромном доме. Кот не то чтобы постарел, но изрядно посолднел. Притворный бандитизм в округе

его меньше увлекает. Он любит теперь сидеть на столе в кухне и смотреть на папу, когда тот вкушает свой патентованный диетический ужин. Ты не один, как бы говорит он мне своими круглыми глазищами и подрагивающими усищами, мы с тобой вместе; мужчины, друзья. Я скоро догоню тебя по возрасту, если принимать во внимание ваш дурацкий расчет кошачьих лет — один к семи. Иногда лапой он берет какой-нибудь кусочек из тарелки».

*Василий Аксенов.*

*«Кесарево свечение».*

*Глава под названием «Роман подходит к концу:  
народ разъезжается»*

## 2. ТЕЗЕЙ И ДРУГИЕ

*«Все, что должно быть сказано, уже было сказано, но поскольку никто не слушал, приходится все повторять сначала», — заявил Андре Жид и в 1946 году написал повесть о Тезее.*

Это небольшое произведение стало чем-то вроде завещания писателя. Его Тезей — постаревший правитель Афин рассуждает о том, каков путь создания идеального государства божественного подобию... Андре Жид спорит, даже не спорит, а так, как бы наносит «заметки на полях» платоновского «Государства». Создатель Афин — города разума и духа, Тезей прошел искушения, схожие с идеями философа, и уже на исходе своих дней освободился от иллюзий. Как в свою очередь и сам лауреат Нобелевской премии А. Жид полностью отрезвел от симпатий к Советскому Союзу, от коммунистического наваждения. Он убил своего Минотавра.

Одновременно с написанием «Тезея» во Франции в Москве создавались высотные дворцы. И высотка на Яузе стала дворцом Минотавра, сражаться с которым предстояло другому Тезею.

**ИРИНА БАРМЕТОВА.** *Тезей Еврипида и Сенеки — классический герой, Тезей Плутарха — государственный муж. Тезей Андре Жида — законный правитель, побуйствовавший в молодости, резонирует в зрелые годы... Какой Тезей Аксенова?*

**ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ.** Для меня мифологический Тезей — боец, можно сказать, спецназовец какой-то... Он ведь убил множество людей, зверей; сек всех направо-налево. И, лишь когда он вошел в Лабиринт, чтобы спасти принесенных в жертву семь прекрасных дев и семь юношей, он сделал это не для того, чтобы стать героем, а для благородной идеи — освобождения афинян от злодея. А потом как следствие Афины стали городом духа. Греческие герои — часто полумифические, полуисторические фигуры. Они вообще были дети частично смертных, частично богов. В размытости, перетекаемости смыслов и заключается сила античности. Образ Тезея, конечно, преследовал Кирилла Смельчакова, он всегда смутно идентифицировал себя с Тезеем. Смельчаков не был певцом Сталина, но он искал идеал божества, а в результате увидел черную черноту, черноту чернее черноты... И он ощутил себя врагом черноты, врагом Минотавра. Недаром Ксаверий Ксаверьевич после выступления поэта Смельчакова в Московском университете, где тот читал стихи о Тезее, так испугался. Он догадался, что в образе Минотавра можно зашифровать Сталина. А поэт ему ловко ответил:

«Ничего подобного, это Пентагон». Наврал, короче говоря.

Но сам-то Сталин сразу его раскусил. На даче после прочтения поэмы Сталин заявил, что у него есть острое чувство врага, он всегда распознает врага. И потом, после его уничтожения, выясняется, что он действительно был враг. А есть также острое чувство друга. «Вот ты написал яркую антисоветскую поэму, но я тебе ее никогда не поставлю в вину, потому что ты — друг».

*— Человек не был свободен, никогда не будет, и нехорошо, если будет, — так рассуждает Тезей Андре Жида. Не значит ли это, что человек живет не вполне своей жизнью? И, следовательно, все, что говорит, есть ложь по определению, всего лишь обоснование собственных ошибок и заблуждений?*

— Видимо, творческая интеллигенция того времени, как я представляю себе, мучилась из-за необходимости славословить Сталина. Поэтому искала любое оправдание: «Неужели же мы такие ничтожества, что можем какому-то жалкому политическому авантюристу петь

осанну? Все-таки очевидно, что в нем есть нечто историческое, есть нечто мистическое». И Кирилл видит в нем мистического бога. Он утешает Глику, что ничего, Сталин умрет, как мы все, но станет Богом. Вот будущей нашей новой религии мы все и служим, неоплатоновскому государству служим. Но возникает ужас черноты: там не Бог, а бык его ждет.

*— Платон формулирует постулат, который он называет центральным и наиболее важным политически, — требование верховной власти правителя-философа.*

— Есть что-то, что соединяет, казалось бы, такие далекие эпохи. И, в общем, неоплатоновская идея — это мечта Смельчакова да и Моккиначчи тоже. У меня нет никаких весомых доказательств, но смею думать, что та интеллигенция, которая вроде бы уцелела после жутких чисток, она как бы предлагала верховному вождю быть при нем в качестве правителей-философов в платоновском понимании, таких как бы толкователей происходящего. И каждый период, свободный от массового зверства, они, возможно, пытались использовать



для влияния на верхушку. Писатели, предположим, как Эренбург или Твардовский, Пастернак, в очень большой степени Симонов...

*— Однако Пастернак был так далек от власти...*

— Далек. Он, конечно, не собирался становиться членом Политбюро, у него и в мыслях этого не было, но истолковать вот такую неминуемую власть, с которой можно жить и строить утопическое общество, он пытался. Он был под аурой революции, всей этой очистительной бури, пронесшейся над страной...

*— Но самообман проповедников-толкователей — это обман других.*

— Конечно, конечно. Но желание самооправдания... Понимаете, если признаться самому себе, что живешь вот так лишь оттого, что боишься пыток — не смерти боялись, а пыток — то это значит — ты ничтожество и жизнь бесцельна. Поэтому, возможно, они думали: ну наконец-то эта власть придет в себя, они уже нажрались

насилия и поймут, что такое народ, что такое будущее вообще и какое будущее они готовят. И всем кажется — ну все, не будет больше ужаса и мы все-таки действительно станем активными членами этого общества, еще не зная, что задумано чудовищное злодейство, задумано «дело врачей», высылка всех евреев в Сибирь. То есть уничтожение. Задумана оккупация Югославии. Они же собирались туда входить. В романе, конечно, все в гротескной форме, когда Сталин говорит, какие дивизии куда пригнать.

Тито сам был мини-Сталин, конечно. И я не исключаю, что он действительно предложил объединиться СССР и Югославии. Это взято из дневников Джиласа. Сталин сначала согласился, а потом испугался, что Тито его убьет и станет единым вождем. В романе недаром Тито говорит, что мы должны устранить Сталина для спасения мирового коммунизма.

*— Попытка интеллигенции оправдать свое существование была обречена?*

*— Она не была оформлена, это была подспудная идея...*

— Есть две версии, каким был Лабиринт. Первая — это подземелье, где прятался зверо-подобный Минотавр. По второй версии царь Крита Минос приказал пленному архитектору Дедалу построить на берегу моря дворец с множеством комнат, переходов, этажей. И так хитро был запутан план дворца, что все вело в одно помещение, где находился Минотавр. Ваша Яузская высотка — это дворец-лабиринт?

— Конечно, дворец. На вершине Лабиринта блуждают люди, все мои герои, там их ждет чернота...

— Интересно, как мысль, идея писателя последовательно «комментируется» архитектурой. Дом на набережной послужил Юрию Трифонову для его реалистического романа о судьбах людей, так или иначе связанных с революцией и преобразованием государственного строя. Стоит немного пройти вдоль реки — и появится другой дом — Яузская высотка, дом-эпоха, которому было определено стать символом той власти. И этот дом вы заселили героями уже полумифическими и полуреальными;

*у них грани перехода одного в другое нечетки и почти неуловимы. Два разных романа, как два разных дома.*

— Как-то я вообще не связывал свой роман с «Домом на набережной»... Там, на набережной, и архитектура другая, конструктивистская. А конструктивизм не был вершиной социалистического рая, лишь подходом к вершине. Архитектор Дмитрий Чечулин, кроме того, что изобразил, а потом воплотил Яузскую высотку, еще и нашел потрясающее место для этого дворца.

— *Как для храма; на Руси абы где храм не ставили.*

— Да, как для храма. Яузская высотка — это дом, который построил Джек, дядя Джо, Сталин. Сталин понимал, что скоро уйдет, и где-то совсем глубоко чувствовал, что после этого начнется движение вниз всего общества, которое он создал. По какому-то наитию возникает у него желание увенчать вершину социализма дворцами. Отсюда и высотки, их всего было восемь: семь в Москве, а восьмая в Варшаве. Яузская высо-

тка — это, между прочим, потрясающее творение. Я стал на нее иначе смотреть. Раньше отмахивались — кошмарный сон кондитера. А сейчас вижу, что это — удивительные пропорции, какая-то гармония того общества, мистика.

— *У вас Москва описана в романе как город мечты, город утопии.*

— Совершенно верно, большевистская утопия в своем зените. Образ Москвы, ее реки как кристальнейшего потока воды... И все это... Купальни, девушка с веслом, байдарки и так далее... Я помню, мне было тогда, как Таку Таковичу, 19 лет, сам купался на ступенях Парка культуры и отдыха. Кроме ЦПКиО были еще разные купальни. Москвичи, купающиеся и загорающие, соединяются у меня с Сиракузами... Там же и Платон обретался...

— *Откуда название «Москва-Ква-Ква»?*

— Даже не знаю, вот не знаю. Когда закончил роман, никак не мог найти подходящего названия. У меня героиня Эшперанца, звезда На-

дежды, говорит: «Ты знаешь, мне нравится твоя ква-ква». Она так сказала, и вдруг мне пришло: вот это и есть название. Москва-Ква-Ква. В свободном переводе с французского «куа-куа?» можно считать формой вопроса «Что-что?»

*— Сталинская стипендиатка, студентка журфака МГУ, спортсменка Гликерия Новотканная на балу Ариадны из девочки в длинном платье превратилась в Федру. Лишенная божественности жена Тезея Федра покончила с собой земным способом: у Еврипида вешается, у Сенеки закалывается. Федра Расина принимает яд. У вас она принесла себя в жертву?*

*— Гликерия — дева предельной пуританской чистоты. Это парящая дева социализма. Недаром она жалеет, что нет монастырей, а то бы она ушла в социалистический монастырь. Развращенная сталинскими плейбоями, она уже не может существовать как героиня, поэтому она и уходит.*

*— Она убивает Минотавра, своего бога, да еще так необычно: «Дорогой товарищ Сталин, наше божество! От имени советской молодежи*

*я хочу преподнести вам эту удивительную шаль, дающую длительное ощущение нежности!»*

— Да, она убивает Сталина. Существует миф, по которому Сталин не умер своей смертью, просто плохо себя почувствовал, у него был криз. И все приближенные собрались на его даче, а Берия приехал с какой-то девушкой медработником и втолкнул ее в комнату вождя. Она накинула на Сталина какое-то покрывало и убежала. После чего Берия закричал: «Тиран мертв!» Возможно, это покрывало было отравлено. Почему нет?

— У вас отсылки к древнегреческим мифам сплетаются с рожденными сталинской эпохой мифами о Москве. Как будто существовали ядовитый покров Гликерии, мальчик, летающий, как сын Дедала, подлодка у стен Кремля.

— Почти все фантазии в моих сценах 50-х годов основаны на городском фольклоре. Все время во мне бродили какие-то рассказы, мифы, московская такая болтовня. Как-то совсем недавно с киношниками сидел и так, не называя ничего, обозначил контуры нового романа. Мне



тут же стали рассказывать всякое. Например, о высотных домах давно ходит история, которая претендует на полную достоверность. Во время строительства Московского университета на Воробьевых горах, который строили заключенные, один из заключенных прыгнул на дельтаплане, улетел за охраняемую зону и исчез. Исчез навсегда. Его так и не нашли. Во всяком случае, так гласит легенда. Конечно, я тут же ее подцепил и стал разрабатывать. И вот тогда в моем повествовании Юрка из лагеря на Швивой горке (это реальное место рядом с Яузской высоткой, и оно описано у Солженицына «В круге первом») оказался в своем же доме, в этом «чертоге чистых чувств», но уже заключенным в одну из башен. А там, внизу, любимая собака гуляет, папочка, Глика любимая плавает в воздухе, парит, гребет. И польский узник тайно сооружает дельтаплан, отдает его Юре и тот улетает...

— *Просто какой-то Икар социалистический...*

— В том же разговоре один из ребят уверял, что под Котельниками в устье Яузы стояла под-

водная лодка на случай эвакуации. Якобы кто-то подлежал такой срочной эвакуации. А вот фантастическую историю Ариадны Рюрих и приезда Гитлера в Москву — это я лично придумал. Придумал и все время себя корил, что неправдоподобная. Думал, может быть, описать это как бред Ариадны или как ее вранье... И вдруг вспомнил — ведь моя фантазия имеет под собой полнейшую реальность! Ольга Чехова... Конечно. Примадонна нацистского экрана, Ольга была любимой актрисой фюрера. Красавица невероятная и долголетний агент КГБ. После нашей победы, когда Берлин был взят, Ольгу Чехову тут же увезли в Москву. Она полтора года была в Москве. Ее московские родственники (а среди них была Ольга Книппер-Чехова) даже об этом не догадывались. Что делала в эти полтора года — неизвестно. Потом ее вернули в Берлин, отстроили, отремонтировали все ее особняки, два лимузина подарили. Она обменивалась с московским адресатом письмами, которые начинались: «Дорогой Лаврентий...», вспоминала, «как хорошо нам было». Но, в общем, это тоже базируется на полуреальных или на девяносто процентов реальных мифах войны. Я и подумал: почему она не могла вывезти Гит-

лера? Запросто могла. Кстати, насчет векселей, которые в чемодане у Кирилла Смельчакова, тоже вроде бы полнейшая придумка: ну какие такие векселя в социалистическом государстве! Но в 1965 году я был в составе огромной советской делегации на конференции Европейского сообщества писателей «Европейский авангард вчера и сегодня» в Риме. А главой нашей делегации был поэт Алексей Сурков. Затем мне надо было ехать в Югославию на какой-то писательский съезд. И я предложил Суркову невиданную для того времени вещь — не возвращаться мне в Москву, а сразу из Рима ехать в Югославию, ведь это намного ближе. Он был совершенно потрясен моим смелым предложением.

— *Еще бы, без сопровождающего!*

— Да, и без решения, ведь в те времена всякий выезд за границу оформлялся решением выездной комиссии Союза писателей и всяких отделов ЦК. Через день приходит: «Я всю ночь не спал, вам пробивал поездку». И пробил... Перед отъездом Сурков протягивает мне страннейшую финансовую бумагу с какими-то гирляндами, вензелями и

говорит: «Вот это обменяйте в банке на лиры». Ни до, ни после никогда не видел ничего подобного. «Да кто же это будет менять, что это такое?» — удивился я. С большим недоверием в каком-то солидном банке в центре Рима я протянул эту штуку клерку и был уверен, что меня сейчас с позором выгонят. Клерк как-то так в замешательстве на меня смотрит, извиняется и уходит.

— *Вы думаете: «Ну вот, началось...»*

— Да-да. Вернулся с начальником, который с невероятным почтением раскланялся, взял бумагу и вынес соответствующее количество денежных купюр. Значит, у них, у высших советской власти, были векселя. И уж если продолжать тему мифов, городского фольклора и фантазий автора, то совсем неожиданно возникла как герой Кристина Горская, укротительница тигров. Однажды в 90-е годы, когда мы вторично вселились в описываемую мною высотку, я зашел в магазин. Знаете, там внизу был магазин «Фрукты-овощи».

— *Он и сейчас существует.*

— Увы, его уже нет, а на его месте кафе «Тута бена», совершенно криминальное кафе. Совсем недавно две перестрелки были, оттуда увозили раненых и убитых. Через некоторое время появилась вывеска: «Мы снова открылись. И теперь навсегда».

— *Жизнеутверждающе.*

— Но не прошло и месяца, как они забаррикадировали вход большим автомобилем, и теперь опять стоит пустое кафе «Тута бена» — «Все хорошо».

— *Прекрасная маркиза...*

— И вот вижу я, как по этому магазину ходит такая маленькая, щупленькая, старенькая дамочка, и все спрашивает: «А это почем, а это почем? У, это не по карману...» Она что-то купила: два помидорчика, два апельсинчика, положила к себе в сумочку и зацокала каблучками к выходу. Я любопытствую у продавщиц: с кем это они так любезно разговаривали? Они недоуменно: «А вы что, не узнали? Это знаменитая

Бугримова». В этой высотке вообще-то жило много знаменитостей, и в том числе легендарная укротительница. Мне-то Бугримова представлялась невероятной красавицей, выходила на арену такая — с бедрами, с гривой волос... Образ застрял в памяти и выскочил, когда Кирилл встретил Кристину Горскую. Потом я придумал ей прошлое, кто-то ее привез из партизанского лагеря, а сама она откуда-нибудь из Словакии или Словении, такая восточноевропейская девушка. Она вошла в роман и с собой протащила всю линию Штурмана Эштерхази. И в конце это кончилось тигром-стариком на поводке, которого кормят продавцы овощного магазина: «Штурманочек, яблочко хочешь?»

— *Есть ли что-то автобиографическое в Таке Таковиче Таковском? Кроме того, что он медик и приехал из Магадана, а мама бывшая знаменитая поэтесса. Может быть, какие-то эпизоды из жизни богемной молодежи той поры?*

— Те самые стилиги в высотке, о которых тогда появился в печати «разоблачительный» фельетон «Плесень». История, которая разыг-

ралась в высотке, кончилась трагически — одна девушка погибла, упала с балкона. А был выбран козлом отпущения Андрей Передерий, сын академика Передерия. Я знал хорошо жену Андрея, Милу Голубкину. Она дождалась его из тюрьмы, он весь срок отбухал. Мила, очаровательная женщина, работала на «Мосфильме» редактором в одном творческом объединении. Он вернулся другим человеком... Мой герой Дондерон очень близок к нему.

— В реальности многое было связано с джазом и запретом его. В романе вы описываете оркестр, который чуть ли не со всего Союза был собран, чтобы «людей высотной неоплатоновской элиты» развлекать...

— Как раз это можно связать с фактом моей магаданской юности. В Магадане мы ходили на концерты эстрадного театра МАГЛАГ (Магаданский лагерь). Все, без исключения, артисты были заключенные. Весь биг-бэнд джазовый. Играли оперетты, в частности — оперетту Богословского «Одиннадцать неизвестных». Сюжетом послужила поездка сразу после войны команды «Динамо»



в Лондон. Наши там выиграли у трех из четырех английских клубов, это была грандиозная сенсация. И песенки этой оперетты были взяты Богословским из английских поп-программ. Много позже в Вашингтоне на конференции каких-то там советологов, кремленологов на коктейле я начал кому-то рассказывать про эту оперетту и напевать песенки оттуда.

*(Здесь Василий Аксенов и вправду запел:)*

Кто в футболе Наполеон? — Стенли Метьюс.

Как выходит на поле он — Стенли Метьюс?

Кто и ловок и толков из английских игроков,

Кто первый? — Стенли Метьюс.

По утрам все кричат об этом —

И экран, радио, газеты.

Популярность, право, неплоха.

Вдруг Роберт Конквест, знаменитый Конквест, написавший книгу «Большой террор», бросается с выпученными глазами: «Ты поешь нашу песенку? Откуда ты можешь ее знать? Это же песенка 45–46 годов». А я так отвечаю: «В Магадане слушал. Заключение пели». Он был потрясен...

*— Надо думать! В Магадане во времена Сталина заключенные поют английскую поп-музыку, будешь потрясенным... Звучит фантастикой.*

— Абсолютная реальность. Артисты жили на зоне, но в теплых комнатах. Можно было видеть на улице группу великолепно одетых людей; дамы в боа, мужчины в мягких федорах, шедшие под конвоем на репетицию или на концерт. Но что самое замечательное, что у этого театра МАГЛАГ была хозяйка — самая всесильная женщина на «Дальстрое», младший лейтенант Гридасова. Она была любовницей начальника «Дальстроя» генерал-лейтенанта Никишова. Они жили вместе в особняке Никишова в самом центре города, проспект Сталина. Она была хозяйкой коллектива и выручку за билеты брала себе. Именно к ней моя мама умудрилась после лагеря пробиться на прием и рассказать историю нашей семьи. Гридасова расплакалась. Просто сцены из мыльной оперы! И мне тут же выписали проездные документы в Казань. Вот такая была младший лейтенант Гридасова.

*— Идеи «облагородить» власть существовали и во времена Вольтера, и этому отчасти*

*были посвящены ваши «Вольтерьянцы». Связь этих двух произведений для меня очевидна. Ненавязчиво, из ниоткуда появился подарок от Екатерины на балу у Ариадны... Да и сама она вроде бы промелькнула...*

— Конечно, это продуманно, и она должна была там появиться.

— После такого сложного романа, как «Вольтерьянцы», вам удалось написать произведение по напряженности мысли, фантазии, авантюристичности не уступающее...

— У меня довольно часто так бывает: я с какой-то идеей несколько лет брожу, то вспоминаю ее, то забываю. И эта идея возникла, когда мы вторично въехали в высотку на Котельнической набережной: новое правительство Москвы вернуло нам квартиру. В 1988 году комендатура высотки явочным порядком забрала квартиру у моей жены Майи Афанасьевны. По чистой случайности квартиру нам дали в этом же доме. Я бродил вокруг высотки, а в то время в нашем доме, в кинотеатре «Иллюзион», шел фильм «Строгий юноша».

По-моему, фильм просто гениальный. В нем главный персонаж — такой молодой полускульптурный герой, вообще все люди в фильме немножко полускульптурные: они двигаются, ведут какие-то диалоги и потом застывают в барельефных позах. Юрий Олеша и Абрам Роом создают образ конца 30-х годов — образ утопического общества. Молодой герой говорит: «Современный юноша должен любить свое правительство». И его мускулы наливаются и становятся рельефными. Там показаны архитектурные строения, которые воображаешь, думая о неоплатоновской стране.

Я подумал: может быть, в современном кино можно сделать что-то в этом роде? Конечно, сразу представив себе внешнее и внутреннее убранство нашей высоты... Тут столько всяких мест, различных архитектурных поворотов, тупичков и ответвлений... Начал с этой идеей делиться с друзьями. Многие восклицали: «Потрясающе!» И дальше дело не шло. А я все думал о кино, где главными героями должны были быть сталинские фавориты, плейбои, какие-нибудь полярники, какие-нибудь писатели. Между ними можно будет разыграть мелодраму с красавицей из этого дома...

— *Вы хотели лишь разыграть любовную историю и не выходить ни на какие другие темы?*

— Знаете, как я пишу? Не ведаю, что через десять страниц будет, даже через пять. Что произойдет там — бог его знает. Потом, в процессе письма, я понял, что нельзя никуда убежать от эпохи.

— *Хотела бы как раз поговорить о треугольнике, который вы описали, где любовь разделена между двумя мужчинами. Сначала отдаешь лавры первенства одному, потом приходит другой, и возникает полная уверенность, что именно с ним должна остаться Глика... Вы все время играете в соперничество хорошего, очень хорошего и прекрасного.*

— Соцреализм. А вы кого предпочитаете в этом треугольнике?

— *Моккинакки. Прекрасная небесная Абхазия, куда Жорж привез Глику, что это?*

— Писано с Биаррица — пляж, казино. Когда они прилетели в так называемую Абхазию,

приводнились и выгрузили тяжелые ящики, мною намекалось на тайное задание... Штурман Эштерхази был каким-то там спецагентом и мог такую вещь сделать. Вообще-то, по-моему, в этой вещи много любви, и, в частности, к Москве. Несмотря на все чудовищное, что вокруг происходило, в то же время это город, где жила потрясающая и очаровательная Глика, где жила невероятная авантюристка мама, где смешной Ксаверий Ксаверьевич, где все они жили, купались в Москве-реке, ходили на каток, влюблялись, изменяли друг другу, где в шоферской столовке, что была наискосок от КГБ, я сам часто по ночам сидел. Весь этот мегаполис, несмотря ни на что, каким-то образом умудрялся выживать, жил себе...

— *Вы могли бы представить своего Тезея не поэтом, не героем, а постаревшим правителем, как его описал Андре Жид?*

— В том-то и дело, что не представляю, поэтому он и ушел. Ушел в окончательный лабиринт, из которого выход только в загробный мир, небесный мир.

— *Вы убили всех своих героев...*

— Они все погибли, остались без нити Ариадны, она их не вытянула. Другого конца у этой истории быть и не могло. Уходит эпоха, уходят ее герои, ее друзья, ее враги. Все уходит, остается Лабиринт.

— *Где-то читала, что Лабиринт — ад, который все же лучше рая. В Лабиринте поэт ждет испытание, которое не даст ему стать нормальным человеком. Норма губительна для творца.*

— Творчество в раю уже и не нужно, все сливается. Я, между прочим, был в том лабиринте на Крите. Он не произвел такого страшного впечатления. Руины...

— *Зачем вам те руины? Каждый теряется в своем собственном лабиринте, вы живете в Лабиринте, который здесь, в Москве.*

— Мы все в лабиринте. Тут вообще эта Ква-Ква сейчас разгулялась... Бог знает, куда она



нас затянет. Как бы, как бы, как бы, куа, куа, куа.  
Квакаем, квакаем.

Можно искать небесный град в прошлом или в будущем, можно звать «назад к природе» или «вперед к миру любви и красоты», но это всегда — призыв к нашим эмоциям, а не к разуму. Даже лучшие намерения создать на земле рай могут превратить ее только в ад — в ад, который человек — и только он — может создать своим собратьям.

*Карл Поппер.*

*Открытое общество и его враги*

### 3. ТАМАРИСКОВЫЙ ПАРК РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ

Считается, что тамариск — древо жизни — наряду с финиковой пальмой был создан на Небесах. Тамариск — вечнозеленое растение — библейская манна, манна небесная. В весеннюю пору он выделяет сладковатую жидкость, быстро застывающую

на воздухе в виде белых шариков, похожих на град, и по вкусу напоминающую хлеб с медом.

Смолистое дерево пустынь особо почиталось в Месопотамии и Палестине. В Древнем Египте его связывали с воскрешением бога Осириса, в Китае — с бессмертием, в Японии — с дождем. В шумерской магии тамариск широко применялся для изгнания зла и очищения. В христианском обряде венчания произносятся слова:

«Пальцы мои — тамариск, кости небесных богов!»

**ИРИНА БАРМЕТОВА.** *И поэтому слова Сочинителя в самом начале романа — тамарисковые аллеи схожи с комсомолом — смелое заявление. Когда знаешь ваше прошлое, творческую биографию, ваши либеральные взгляды, такая поэтизация кажется странной...*

**ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ.** Для меня самого это странно было. До сих пор не понимаю, как появилась фраза: «таков и наш исторический комсомол». Позже пришло осознание, что она возникла неспроста: с нее началось развитие комсомольской темы.

— Потом в романе была предложена иная расшифровка аббревиатуры «комсомол»: коммерческий союз молодежи. Это не просто игра слов, это — попытка разобраться в истории возникновения нового для нашего общества явления — олигархии?

— Верно.

— Современность — вещь коварная и губительная. При неосторожном использовании может, как кислота, разъесть художественную ткань вымысла. Вы рискнули писать о современности, и временная пауза между действием романа и событиями наших дней — минуты.

— По правде, я начинал этот роман, не зная, какой он будет — современный или какой-то иной. Сначала захотелось описать аллеи тамарисков, и где-то там сидит старый сочинитель и наблюдает за всем, что происходит вокруг. У него предчувствие; он что-то сочинит, но пока не ведает, что это будет. Все же роман — не просто телетайпная лента событий, как в газете.

В романе есть постоянный возврат в прошлое, не далекое, но все-таки прошлое.

— *Единственный выпрыгнувший из прошлого — мальчик, которого все принимают за англичанина. Его первое появление в волнах океана (как рождение Афродиты — из пены морской) напомнило персонажа с полотна эпохи Возрождения, но не в идиллической гармонии мира, а экспрессивно...*

— Да-да-да. Отчасти это парафраз моей повести для детей «Мой дедушка памятник», написанной в 1972 году. Там автор выходит на набережную Коктебеля, видит 12-летнего мальчика и начинает с ним говорить.

— *Это и была отправная точка романа?*

— Вначале я думал, что такой же мальчик и будет главным лицом всего романа: вокруг него и начнут раскручиваться все события. Но потом почувствовал, что это не совсем то. Очевидно, тут сыграла роль история жизни Ходорковского. Конечно, отчасти, это не значит, что роман возник

из желания описать все это, но какие-то отзвуки этой истории возникают. Стало ясно, что в романе один из героев должен оказаться в тюрьме. И этот кто-то в тюрьме начинает вспоминать всю свою жизнь. Тогда я очень скоро понял, что это как раз отец моего юного героя.

*— То есть мальчик из далекого теперь Коктебеля сейчас сидит в тюрьме.*

— Да, тот самый мальчик, с которым 35 лет назад встретился Василий Павлович. Я начал прослеживать моего героя в «бликах» 78-го года, 80-го, 85-го, 91-го... Конечно, такой мальчик, как Ген Стратафонов, а именно так звали моего героя той повести, никуда больше не мог пойти, как именно в комсомол. И он стал таким вундеркиндом режима, империи. Именно его в конце 70-х годов послали в Америку для участия в движении «Молодые лидеры мира», а дальше — непременно МГИМО. Институту международных отношений нужны были такие приближенные и надежные... А вот молодой герой оказывается вовсе не английским мальчиком Ником, а русским Никодимчиком, сыном Гена. И, в общем,

это все не просто сегодняшний день с самыми актуальными событиями. Вы видите, время отходит назад...

*— Африка — континент, с которым герой романа связывает надежды рождения совершенной человеческой расы. Африка нуждается в великом идеалисте, и вы описываете бывших комсомольцев, не жалея красок, наделяя их идеальными качествами.*

— Во всяком случае, человеческими. Вы знаете, Ира, я помню, как я в 69-м году приехал в Академгородок новосибирский и провел там несколько недель. Я познакомился тогда с комсомольцами. Раньше к ним у меня было очень недоверчивое отношение: все же, действительно, в основном это была конъюнктурная, какая-то хапужная группа... А за их плечами вообще — страшная палаческая комса времен Гражданской войны. Но вот не только я, многие замечали, что к концу 60-х уже появились в комсомоле странные, другие люди.

*— Редкие.*

— Очень редкие. Они любили джаз. Они любили современную живопись, поэзию, это вообще... вся эта поэтическая лихорадка и новая проза... Я помню, был 61-й год, после просмотра фильма по моему «Звездному билету» нас пригласил Лен Карпинский — секретарь ЦК комсомола. Мы с ним беседуем, и я осознаю, что он — просто один из нас — человек совсем другого направления. Это он-то, сын любимца партии Карпинского, сам рожден в высшей номенклатуре и так далее. И в то же время говорит о вещах, о которых ни в какой газете никогда не прочтешь. Мы говорили о Новочеркасском восстании (уточнить год). Страшная тема. Причем он, конечно, не одобрял это восстание, но картина, которую он описал нам — мне и режиссеру Зархи, — была картиной молодежного восстания. Среди прочего, он, например, рассказывал о молодых мотоциклистах, которые там появились и всюду сновали, осуществляя связь баррикадчиков. Беседа была почти доверительная, правда, все же закончилась она фразой: «Так или иначе, но, товарищи, я должен вам сказать, что, если фильм будет такой, как роман, комсомол выскажется против».



Потом я с ним вновь познакомился в компании моих друзей. Вы знаете, он стал диссидентом, его выгнали из партии... И вот такие появлялись и в Новосибирске. Они уже в 69-м году организовали первое капиталистическое предприятие, которое называлось «Факел». Это предприятие осуществляло первый наем, искало соответствующих ученых в Академгородке и подписывало с ними контракты. Заводы и различные производственные учреждения давали им заказы на всевозможные разработки. Ученые получали деньги, в разы большие, чем они когда-либо могли заработать. А финансирование первичное начиналось с фондов комсомола, которые шли под грифом «совершенно секретно». Возникали различные клубы, например, клуб «Интеграл». В нем, помню, проводили дискуссию: «Правомочна ли однопартийная политическая система?»

— *Неужели в то время возможно было такое?*

— Да. Дискуссия проводилась как театрализованный дивертисмент: оппонентам давались

эспадроны, они фехтовали, результаты записывались на доске...

А потом эти ребята решили 7 ноября, в День революции, устроить демонстрацию под флагами разных партий, как тогда, в 17-м году. И они прошли перед трибунами городских властей с анархическим флагом, флагом кадетов, эсеров и так далее. Партийные мужи были в недоумении: «Это что такое?» — «А это наши комсомольцы сделали вот такое костюмированное шествие». Вот в таком духе это все и развивалось. Думаю, что к концу своего существования комсомол уже представлял альтернативную партию — партию молодых. Ведь тогда была борьба против герантократии. Борьба уже шла почти открыто, потому что по тем временам и сам Горбачев был молодым. И вот эта вот альтернативная партия первая заявила о самороспуске. Первое советское учреждение, советская политическая структура, заявившая о самороспуске.

*— Ген — один из таких. Он мечтает изменить, улучшить человеческую расу гуманным путем?*

— Гуманным, как Альберт Швейцер, или мистическим; не забывайте, ведь он попадает под влияние Вулкана. И мы не можем сказать, что это за влияние. У Гена было не просто стремление к обогащению, как у большинства тогдашних довольно отважных и, в общем, очень дерзких людей, решивших идти в несуществующее.

— *Вы имеете в виду начало перестройки?*

— Да, начало русского капитализма. Эта совершенно невероятная лихорадка обогащения: нахапать как можно больше и быстро потратить, жить вовсю. А мой герой мечтал употребить богатство для преобразования человеческого рода, для преобразования России, преобразования Африки. Именно поэтому он и встал во главе огромной корпорации. Чего не скажешь о его прекрасной жене. Она-то была более прагматичной. Это она первая подписала тот исторический договор, когда призвали бывших комсомольцев или почти бывших «помочь родине».

— *Геологический термин — «редкие земли», который стал названием романа, он имеет и обобщающее значение?*

— Мой американский друг профессор-физик Валера Маевский как-то звонит мне в Биарриц из Вашингтона и сообщает, что нашел в Интернете стихотворение Семена Кирсанова. Как известно, Кирсанов, поэт с филологическим образованием, славился своей словесной изобретательностью. Он в поисках рифмы на «небо» нашел в словаре название — неодим — и был потрясен фонетической трансформацией этого редкоземельного элемента.

«Может быть, так с корабля открыватель земель увидел и остров Борнео. И мне захотелось, чтоб мир начинался на «нео»: неомир, неодень, неожизнь! Неолит — со следами костей и улиток, неофит — от пещерных камней до калиток. Неосвет, неодом, неомир! Пусть он будет всегда неоткрытым, необычным и необжитым.

О, мое новое «нео»! Мое озаренье мгновенное — небо необыкновенное. Так у речи на дне мне, как капитану Немо, открылись подробности будущих слов и их необъятнейшие невозможности.

Почему же опять упрекают меня в необдуманной неосторожности?»

*Семен Кирсанов*

Он пленился не только звукописью, но тем, что он редкий, понимаете? Тогда-то и возникла у меня метафора редкости: редкоземельные металлы, редкость Земли-планеты в контексте Галактики, вселенной — мы других таких не знаем, где так вольно дышит человек, — и редкость человеческого племени как такового в свете этих необозримых космических пространств. Расстояния своей огромностью вообще стирают всякую материалистическую философию. Например, когда говорят: «Эта звезда довольно близка к нам, ее можно достичь за пять миллионов световых лет». Ну что это такое?

— *Абстракция, которую понять невозможно.*

— Совершеннейшая мистика. И люди — такие вот редкостные продукты этой космической каши, а среди людей есть редчайшие. Я выбрал этот термин «редкие земли» для названия книги потому, что мне показалось, что он вполне уместен для общей метафоры романа, речь в котором идет о редкости как таковой. А уже потом пришло название корпорации — «Таблица М». Таблица Менделеева. Валерка мне прислал кучу

вещей из Интернета, и у меня они все запели... Там была фонетическая близость с какими-то русскими словами, эти перекаты, неожиданные, возникающие обстоятельства со всеми этими гадолиниями, и лютециями, и самариями... В общем, возник какой-то новый мир. В связи с этим фигура другого героя — Макса Алмазова, сибирское рождение которого странное и загадочное. Никодимчик-то африканский. Кстати, я где-то прочитал, что именно в Габоне есть такой вулкан, в котором, по мнению некоторых ученых, произошел какой-то колоссальный космический, так скажем, — поворот. Оттуда, возможно, и возник Адам.

*— В любые времена есть место предательству одного человека, и этому есть хоть какое-то оправдание: человек слаб... Но страшно, когда предается целое поколение. Все, что случилось с Геном и его соратниками в нынешние времена, — это история еще одного потерянного поколения?*

— Потерянного и обманутого. Возьмите отцов моего поколения. Среди них масса революцио-

неров, солдат революции, искренне веривших. Сколько их уничтожено в этом кровавом колесе? Я думаю, больше, чем осталось. А дальше — война, ушли на убой миллионы молодых людей. Сколько из них осталось? Процентов тридцать? Вернулись с войны, думали, что все пойдет иначе. Ничего подобного, опять все закрутилось. Обманули. И затем «шестидесятники». Тоже надежда — социализм с человеческим лицом. «Все, мы все переделаем, у нас будет другой, цветущий, демократический, европейский социализм», да? И вновь полный обман, кончившийся удушением Венгрии, подавлением Чехословакии и далее — наш Новочеркасск, восстание в Муроме, в Средней Азии. В общем — опять все оказалось липой... Дикое похмелье, разочарование... В перестройку призвали молодых и объявили: «Демонтаж, господа. Надо начинать снова... Вы должны участвовать в перестройке. Вы — молодые, энергичные, вы не просто какие-нибудь там комсомолы, а уже интеллектуалы — идите, дерзайте, становитесь миллиардерами. А родина у нас всегда останется». Ну и ринулись все становиться миллиардерами. И что из этого получилось — опять потерянное поколение...



— В романе есть одна полумистическая организация — МИО. Лишь в конце повествования мы узнаем ее истинное название — «Мать-и-отец». Вы придумали этому явлению название — скрытнобольшевизм. Вы полагаете, что есть аналог этому в нашей действительности?

— В этом я просто не сомневаюсь. В организованном или неорганизованном виде, но эта структура, даже не структура, а целый пласт скрытнобольшевизма существует в нашей стране. Скрытнобольшевизм невольно приходит в голову всякий раз, когда я слышу выступления прокуроров или иных чиновников. Надо сказать, что существуют более или менее открытые площадки вот таких людей, где они могут высказываться. Это, опять же, я почерпнул из реальной прессы дня. Оказывается, у нас не только Общественная палата существует. Есть такой журнал «Терра нова» на русском языке, его издают интеллектуалы Силиконовой долины в Калифорнии. И там очень много различных мемуарных и актуальных интервью. В одном из них я прочел об АОУЭП — какой-то Академии, где заседают маршалы, генералы, какие-то крупные

конструкторы той эпохи, люди, которые считают себя солью земли советской. И в этой Академии идут различные обсуждения. Одно из них с темой «Героические подвиги охраны лагерей и взаимодействие с заключенными во время Великой Отечественной войны» я использовал в эпизоде, где фигурирует АОП — Академия общего порядка. Главная мысль этого обсуждения была в том, что якобы благодаря «подвигу охраны» и «взаимодействию» десятки тысяч заключенных приобрели новые профессии.

*— А я-то полагала, что это чистейшей воды авторская выдумка...*

— Это доклад генерала внутренних дел, произнесенный на одной из сессий данной академии. Такие сведения дает журнал «Терра нова».

*— Вы считаете, что скрытнобольшевизм непобедим?*

— Может быть, у нас и непобедим, в этом что-то этническое, не знаю.

— То, о чем вы размышляли в «Вольтерьянцах», в «Москве-кве-кве» в «Редких землях», соединилось в некий авторский манифест философского звучания. Особенно это проявилось в сцене освобождения из тюрьмы Гена, когда вместе с ним выходят все герои ваших книг.

— Вам понравилось? Теперь критика будет рычать — Аксенов пиар своим героям устроил.

— Вполне возможно... Как пришла идея освобождения героя?

— С кем он сидел, я не знал совершенно. Потом предположил, что в камере возможно расписать «пулю», а преферанс — значит, еще трое-четверо. Что это за сокамерники? Может быть, мои герои: Фофан Филфофанов, Саша Коробов и Игорь Велосипедов из «Бумажного пейзажа»? Их было только трое. И так все шло до тех пор, пока Ашка не задумала штурм фортеции, освобождение всех. Каким образом? Взяткой.

— Самое сильное оружие у нас.

— И вот этим оружием открываются все камеры, падают все замки. И кто уходит? И тут меня осенило: выходят-то мои герои, значит, эта тюрьма была узилищем всех моих героев...

— *Действие романа происходит в России и Франции. Жизнь американского русского сочинителя в Биаррице напомнила жизнь американцев на Лазурном берегу у Фитцджеральда.*

— Да? Из какой вещи?

— *«Ночь нежна». Но жизнь русских в Биаррице — это уже совершенно другое. Шикарный прием в приватном шато описан с достаточной иронией.*

— Ну, конечно, как все подобные мероприятия, они просто часто бывают смешноватые такие. Вот это написано не с натуры. Я воображал... Например, на прием я пригласил потомков генерала Шкуро, которые в действительности во Франции стали фармацевтами, юристами. Если живешь во Франции постоянно, все время наталкиваешься на таких людей. Если их собрать вместе, получится что-то интересное: комсомольские

коллективы, и песни комсомольские, и потомки белой армии, добровольческой армии.

*— Вы не даете этому потерянному поколению никакого будущего. Ничего, совсем ничего. Самое тяжелое для меня — гибель Ника. Вам не было страшно?*

— Очень страшно. Ник растворяется в море, из воды он выскакивает к отцу уже не таким огромным, каким ушел, а обычным, чудным, милым, трогательным мальчиком. И они уходят куда-то вовне жизни. Уходят из бытия — отец, сын, Дельфина, ее ребенок, который должен был родиться с ненавидящим взглядом, а родился, как сверкающий взгляд. И надежда тут есть, но она метафизическая — на возникновение нового, непостижимого нам человечества. Пока мы не знаем, что еще там будет. Они уходят из нашего грешного мира в идеальную сферу.

*— А остальные как?*

— А остальные будут жить. Жить со своими ошибками, со своими воспарениями, мечтами и мерзостями, так как мы еще не преодолели весь этот путь.

— *«Пришлите мне книгу со счастливым концом», — восклицал поэт. Когда писались «Редкие земли», думали ли вы, что роман выльется в развернутую метафору современности с печальным концом?*

— С моей точки зрения, все-таки есть светлая нота. Так или иначе, все мы уходим из этого вечного мира, но как уходить — совсем уже без всего? Совсем просто в черную дыру — бух, и все?

— *Где сохранятся редкие земли человеческие?*

— Да хотя бы вот на последних страницах они появляются как стихи. Они внутри языка поместились...

— *То есть вы считаете, что это все сохранится в языке, языке как родине, которая нас не предаст?*

— Замечательная идея. Язык — это вообще наша музыка, да?

— *И редкие земли.*

# Отцы по домам, или Звездный билет, но куда?

Интервью с Евгением Поповым

Открытая веранда на Чистых прудах в окрестностях бывшего индийского ресторана «Дели» привлекла внимание ЕВГЕНИЯ ПОПОВА и его старшего коллеги ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, возможностью беседовать хоть и на людях, но в тишине, изучая жизнь, как это и положено писателям. Однако не успели они сесть, как тут же из динамиков, скрытых в чаще искусственных, но очень зеленых кущ вдруг грянула легкая, но противная музыка.

**ЕВГЕНИЙ ПОПОВ** (*борясь со стихией, пытаясь перекрычать ее*): — Это... мы вот...



Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

сейчас быстренько обсудим несколько простых вопросов для журнала «Огонек». Тебя читатели очень любят, несколько поколений читателей. Читателей советских, антисоветских, просто читателей...

**ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ:** — Что-то слишком громко завывали эти бесы, может, пойдём отсюда?

Музыка, как по мановению волшебной палочки, стихает. А ещё говорят, что народ теперь не уважает писателей. Очень он их даже уважает, особенно, если они сделали заказ и явно собираются заплатить за это деньги.

**Е.П.:** — ...например, ловишь ли ты своим ухом, большую часть года находящимся вне пределов родины и не погруженным в ежедневную героику наших новых буден, трансформацию<sup>1</sup> русского языка по ту и по эту сторону океана?

**В.А.:** — Эмигранты отстают от языка, и в обыденной речи за рубежом появляются всевозможные искажения. Пошли **поланчуем...** Возьмешь двадцать седьмой **экзит**, повернешь на втором **лайте**, то бишь светофоре. С другой стороны, когда я оказываюсь здесь, мое упомя-

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

нудое тобой ухо замечает то, что для обычного московского люда стало обыденным...

**Е.П.** *(кривляется)*: — Чаво? Мы не знаем русского языка?! Мы русского языка очень даже хорошо знаем!

**В.А.:** — ...когда говорят, например: — В наводнении погибло много **человек**, вместо **людей**. Или это зловещее **как бы**... Мы с тобой сейчас как бы сидим, **типа** ужинаем...

**Е.П.:** — Я с детства помню из советской пропаганды — мошенник, типа Лю Шаоцы<sup>2</sup>...

**В.А.:** — Русское слово «**типа**» для китайца звучит крайне неприлично. В начале 50-х мои сокурсники-китайцы в питерском мединституте тихо хрюкали от хохота, услышав от лектора по научному коммунизму: «Социализм — это общество нового типа». Потому что «типа» по-китайски будет ... *(Произносит всем известное слово из трех русских букв.)*

**Е.П.** *(пораженный новым знанием)*: — Лю Шаоцы — ..? *(Повторяет всем известное слово из трех русских букв.)*

**В.А.:** — Плюс — чудовищное употребление предлога «о». Это «о» катится по русскому языку, как колесо джаггернаута<sup>3</sup> и разрушает наш

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

**великий-могучий-правдивый-свободный**  
больше, чем все американизмы вместе взятые.  
«Он представил нам список **о** недостатках».  
А еще «**в**». «Ему указали **в** том, что»... Ты при-  
слушайся, что плетут по телевизору даже люди  
интеллигентного сословия...

**Е.П.:** — Сам я романтик, товарищи, люблю  
Антуана де Сент Экзюпери<sup>4</sup>, а **по жизни** — рабо-  
таю говночистом.

**В. А.:** — Это у нас с тобой, конечно, отчасти пу-  
ристское<sup>5</sup> требование к языку. Я погрешности улав-  
ливаю, пока сам не начинаю говорить, как все.

**Е.П.:** — Как все ЗДЕСЬ или ТАМ?

**В.А.:** — И здесь и там. Мой сын Алексей как-то  
мне сказал: — Когда ты приезжаешь, то примерно  
неделю говоришь с не нашей интонацией. Тебя  
по интонации можно вычислить, что ты не совсем  
свой. Правда, я сейчас здесь очень часто бываю,  
а когда приезжал редко, тоже замечал — что-ни-  
будь произнесешь и твой собеседник мгновенно  
поднимает глаза и как-то по-особенному тебя  
оглядывает, кто, мол, такой? Уж не эстонец ли?  
Все это — тонкие вещи. Вот есть расхожее мнение,  
что старая аристократия в эмиграции является  
хранительницей чистоты русского языка...

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

**Е.П.:** — А разве это не так?

**В.А.:** Смешно, но даже в речь американского русского истэблишмента<sup>6</sup> иногда пробирается акцент с Брайтон-Бич... Вернее, не акцент, а интонация... Ну и даже Набоков не знал, что в русском языке начала шестидесятых уже было слово «джинсы», отчего героиня его «Лолиты» носит синие «техасские панталоны».. Наши вашингтонские князья — Оболенский, Гагарин, Чавчавадзе Давид, граф Владимир Толстой — изумительные люди, но с самыми разными лексическими странностями. Их жены, например, любят друг к другу обращаться «душка»... Или кто-то произносит тост со словами «из самого дна моего сердца», что является калькой английского **«from the bottom of my heart»**.

**Е.П.:** — Все смешалось в доме Облонских и Обломовых... После революции 17-го года и эволюции 91-го: ПЯТИЛЕТКА, КОЛХОЗ, ГУЛАГ, ОТСТОЙ, КОЗЕЛ, ЗАБОЙ, ЗАБЕЙ, ПЕРЕСТРОЙКА, ТИП-ТОП, УРА, ВПЕРЕД, ЧУВАК.

**В.А.:** — А я помню, как прокололся в Союзе писателей наш оргсекретарь Ильин Виктор Николаевич, гэбэшный генерал, который ругал-ругал диссидентов<sup>7</sup> с трибуны собрания и вдруг ляпнул:

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

«А теперь, товарищи, в подробном изложении». Зал пришел в восторг, потому что это была фраза из передач «Голоса Америки», а «Голос Америки» и «Свободу» тогда слушали все, кому не лень, хотя это строжайше запрещалось.

**Е.П.:** — Ты ведь ввел в современную печатную русскую литературу не только «бочкотару», «звездный билет» или «остров Крым», а и еще кое-какие специфические слова, например в роман «Ожог»... Последние годы, я заметил, ты стал прибегать к звукоподражанию...

**В.А.** (*поняв, куда клонит деликатный младший товарищ*): — Да, ведь здесь не буква важна, а интонация. Всем понятно, это с нашей-то историей, особенно советского периода, когда двумя главными лингвообразующими<sup>8</sup> элементами были армия и тюрьма, что «гребена плать», «напереули по гудям» — синонимы известных матерных русских выражений. А насчет ТОГО мата? Его полный запрет — это кастрация русской литературы, хотя меня сейчас гораздо больше интересует язык, созданный новым поколением, поколением людей **дела, а не слова**. Мне кажется, эти новые русские при всей анекдотичности их поведения колоссально изменили облик россиянина во всем

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

мире. До этого наш человек был несчастный, задроченный, совсем униженный, естественно — без денег. Или — страшный кагэбэшник, убийца. И вдруг появляются какие-то парни, может быть, вчерашние ПТУшники, вчерашние бедные скоты социализма. Отвязанные, в отличных костюмах. Тратят деньги, ведут себя независимо. Красивые девчонки с ними приезжают. Такие ребята повсюду на Западе, и это не такой уж маленький процент россиян, как ни странно.

**Е.П.:** — А я тут сцепился с одним хорошим, но ученым человеком, который утверждал, что всего лишь 2% нынешних русских (или — российских, как кому больше нравится) живут хорошо, а остальные — за чертой бедности.

**В.А.:** — Неправда. Я как-то в Барселоне просидел несколько часов в аэропорту. Так за это время прибыли четыре или пять чартерных рейсов из России. Иркутск–Барселона, Омск — Барселона и так далее, откуда выходили обыкновенные люди, отнюдь не богачи. В Лиссабоне русских тоже полно. Бродят по улицам, прицениваются к ресторанам. В Биаррице на гостиницах и курортах реют флаги Франции, Британии, Европейского сообщества и непременно — Российской Федерации...

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

**Е.П.:** — Давай вернемся к теме запретов. Мне раньшешили при коммунистах, что я пишу «только о пьянстве и половых извращениях», а тут я был на публичном выступлении одного молодого, но лысого писателя, который читал рассказ о том, как гоголевский нос превратился в сам знаешь что, типа — «**типа**». Смотрю, в зале прогрессивные литстарушки сидят, краснеют, потеют, но крепятся, чтоб «либеральная жандармерия» не записала их в ретрограды. Я встал да и ушел, потому что я — анархист, и мне на любую жандармерию плевать. К тому же эпатировать, когда все и так в раздрызге, — масла масленее.

**В.А.:** — Власть не должна в литературу вмешиваться, это не ее дело. Но общество, общественная, неправительственная организация имеет право на отвращение. Хотя и тут один шаг до зловещего ханжества... Можно было обойтись без таких идиотских, по-настоящему идиотских акций, как нашумевший обмен безнравственных книг на нравственные... Или обвинения в порнухе...

**Е.П.:** — Не говоря уже о том, что это — замечательная бесплатная реклама. Или, может, все они в доле находятся и просто дурят бедного потребителя? Говорят, что возвращенные книги



Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

издатель теперь продает втридорога с автографом сочинителя.

**В.А.:** — С моей точки зрения, сожжение книг и то было бы более естественным. И я повторяю, что все это крайне глупо, хотя мне эти скандальные книжки, из-за которых разгорелся сыр-бор, тоже не нравятся: мертвечина и малоизобретательная графомания...

**Е.П.:** — А другие запреты? Как ты относишься к тому, что россияне хотят иметь оружие, чтобы обороняться от бандитов и шпаны?

**В.А.:** — Я категорически против. Знаю на опыте Америки, к чему это приводит. Штаты занимают первое место в мире по убийствам. Там, где русские или другие мужики обошлись бы простым мордобоем, американцы вытаскивают «пушки». Если бы во время футбольного погрома на Манежной у кого-то было бы оружие, то убитых оказалось бы не двое, а двести. Оружие в первую очередь попадает к шпане.

**Е.П.:** — А у нас измученные граждане рассуждают так: «Дай мне оружие, ко мне полезет бандит, я его убью. У бандита ведь все равно есть оружие, а у меня его все равно нету».

**В.А.:** — Та же аргументация и в Штатах. Кстати, сенаторы и конгрессмены, которые готовы

проголосовать против оружия, этого не делают, боятся, что их не переизберут.

**Е.П.:** — А как ты относишься к смертной казни?

**В.А.:** — Это — сложный вопрос, и у меня нет четкого мнения. Думаю, что смертную казнь нужно оставить для самых исключительных и бесспорных случаев, существенно сузив возможности судебных органов для вынесения такого **крайнего** решения. Скорее всего, такие решения должен брать на себя президент. Смертную казнь должен назначать только он, и больше никто в стране. Он должен взять на себя и эту ношу. Потому что есть все же такие чудовищные преступники, от которых общество должно избавляться. (Пауза.) Навсегда.

**Е.П.:** — Ладно, не будем о мрачном. Давай лучше поговорим о патриотизме.

**В.А.:** — По-моему, где-то в недрах вызревает какой-то ужасно говенный патриотизм и вновь возникает такое великодержавное сумеречное сознание... Нарастают антиамериканские, вообще антизападные настроения...

**Е.П. (горячо):** — Все, о чем ты говоришь, непременно есть. Однако, на мой взгляд, вырабатывается не анти, а позитивная модель миро-

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

ощущения. Идеалом является скорее не Запад, а Россия в период с 1905 по 1914 год, когда здесь все поперло, как на дрожжах — и экономика, и культура, и мысль... (Сникая.) Все, в том числе и революция во главе с лысым Лениным...

**В.А.:** — Церковь еще...

**Е.П. (встрепенувшись):** — Что церковь?

**В.А.:** — Поддерживает такое сознание... Я смотрю по воскресеньям канал «Московия» и там сидят иерархи, писатели, иногда даже какие-то ученые, и все они высказывают совершенно мракобесные идеи. Видимо, это отражение какой-то постоянной шизофренической каши в обществе. Какой-нибудь крупный священнослужитель может начать говорить об избиении церкви при большевиках, а закончить тем, что в течение семидесяти лет советской власти весь наш народ был одухотворен великой идеей. О том, что иерархи сотрудничали с безбожной властью — никто опять не промолвит и слова, зато **интеллигент** — опять теперь чуть ли не ругательство... И вообще — Государственная Дума с ее трехцветным российским флагом заседает под гигантским Государственным гербом несуществующего Советского Союза. Гимн, опять же, на слова вечного «гимнюка» Михалкова...

Странно, что это считается проявлением какой-то там сбалансированности, доброй воли, стремлением к стабильности, миру в обществе, хотя это — самая натуральная шизофрения. От греческого «схизо» — расщепляю.

**Е.П.:** — Ты вот, как дипломированный врач, выпускник Ленинградского мединститута, считаешь, что шизофрения излечима?

**В.А.:** — Пока нет.

**Е.П.:** — А как «гуру Вася» считаешь?

**В.А.:** — Возможно! Путин поначалу пошел у коммуняк на поводу, но, очевидно, поездив по миру, пообщался с лидерами мирового сообщества и теперь более реально представляет себе ситуацию. Особенно на фоне всемирного терроризма и экстремизма. На самом-то деле идет противостояние средних веков и ренессанса. И речь идет не только о России, но и обо всем мире, который становится все более странным, если не сказать хуже, все простое становится сложным, и «быстренько ответить», как ты сказал в начале нашей беседы, не удастся ни на один простой вопрос. Для чего, скажи, возник человек? Для чего существует?

**Е.П.:** — Лучше ты скажи, я — глупый, молодой. Тебе 20 августа, дай Бог, будет 70, а мне всего 56.

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

**В.А.:** — Единственная цель человеческого существования — преодоление первородного греха. Что такое первородный грех? Биология, ненасытная биология. Что-то сожрать!

**Е.П.:** — Молодежь скажет: «Ах вы, суки! Сами попили на своем веку, пожрали, нагулялись, потрахались, а нам теперь рекомендуете биологию преодолевать?»

**В.А.:** — Молодежь — это все человечество. Человечеству всего шесть тысяч лет. А что такое шесть тысяч лет для истории, где счет идет на миллионы и миллиарды? Мы все никак не можем понять, куда идем. Куда мы идем?

**Е.П.:** — А куда?

**В.А.:** — К Апокалипсису. Как и говорит Священное Писание...

**Е.П.** *(ежится)*.

**В.А.:** — Ты что, замерз?

**Е.П.:** — Нет, представил, что если сейчас в этом кабаке Ангел с мечом все крушить начнет, то уже никакой ОМОН не поможет. И правительство — тоже. Хотя, если смерть — мгновенный переход в другое состояние, то ведь и апокалипсис — мгновенен...

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

**В.А.:** — Слабым человеческим умишком нам трудно представить иную жизнь, кроме данной нам в ощущениях. Коммунисты о чем-то догадывались, когда толковали о новом человеке. Правда, сами, вопреки своему учению, мгновенно освинели и стали жировать среди нищеты. Но — они были шагом на Пути, без них человечеству нельзя было сделать следующий шаг.

**Е.П.:** — Шаг, но куда?

*Однако гуру Вася не успел ответить даже на этот простой вопрос, потому что из динамиков, скрытых в чаще искусственных, но очень зеленых кущ вдруг вновь грянула легкая, но противная музыка...*

**Е.П. (пытаясь перекрычать музыку):** — Это нам знак! Дескать, попили, погуляли, а теперь платите и — ОТЦЫ ПО ДОМАМ! Эту гениальную фразу нам однажды сказали юные милиционеры, окружившие нас, то есть меня, Генриха Сапгира, Игоря Холина и Александре Кабакова<sup>9</sup>, когда мы после совместного выступления в Доме кино решили распить из горлышка бутылку на морозце ночью, около Белорусского вокзала...

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

**В.А.:** — Литература — это ностальгия, и жизнь — это ностальгия по тому, утраченному раю, утраченному миру. Если еще имеется у нас возможность читать священные книги, нужно прочесть их сейчас иначе, не так, как мы читали раньше, попытаться по-новому понять скрытую в них непостижимую метафору. Эти попытки должны постоянно продолжаться, в них заключается секрет жизни и секрет творчества. Ведь нельзя же сказать, что человечество будет всегда. Вот с астероидами в ближайший миллион лет что-то там будет происходить, это уже предсказано. Но мы не знаем, что будет с человечеством, уцелеет ли оно вообще. Вполне вероятно, что оно проживет миллион лет и один день, а может десять миллионов и один день... Путь человечества — аллегорический путь того самого Адама, или, наоборот, Адам — это и есть путь, исчисляющийся огромными числом лет. И нет никакого противоречия между теорией эволюции и идеей творения. В каком-то смысле можно представить, что Адам когда-то был динозавром, то есть прошел эту фазу и тем самым как бы наметил весь смысл своего существования как самоусовершенствование на пути возврата к идеалу, то

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

есть выходу из времени. Ибо время — это и есть изгнание. И не идем ли мы из материального мира, через биологию, в которой ДНК<sup>10</sup> является формулой изгнания из рая, — обратно, в нематериальный мир? Так сказать, в райские кущи... Так или иначе пусть все движется своим чередом. Платим и уходим, Женя.

## СЛОВАРЬ ТРУДНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

- <sup>1</sup> изменение
- <sup>2</sup> забытый всеми китайский коммунист-политик
- <sup>3</sup> колесница смерти в восточной философии
- <sup>4</sup> типа французский писатель
- <sup>5</sup> то же, что аристократия
- <sup>6</sup> пуризм — стремление к чистоте и строгости нравов, иногда показное
- <sup>7</sup> это, которые слушали «Голос Америки» и не любили советскую власть
- <sup>8</sup> лингва — это язык, который во рту и на котором говорят
- <sup>9</sup> знаменитые поэты и писатели, имена которых должен знать каждый образованный человек
- <sup>10</sup> то же, что дезоксирибонуклеиновая кислота



# Юбилей Аксенова

Интервью для журнала «Аэрофлот»

Василий Аксенов живет между Россией и Францией. Свой юбилей он отпраздновал в Биаррице и недавно вернулся с казанского фестиваля в его честь — «Аксенов-фест».

*— Василий Павлович, приходится много путешествовать? Когда же вы пишете?*

**ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ:** Нет, на самом деле путешествую мало. Времени нет. Чаще всего курсирую между Москвой и Биаррицем. В Америке не был уже три года. Скучаю по Америке. Как проходит мой обычный день?.. Да довольно занудно

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

проходит. Утром я делаю йогу, стою на голове, бегаю — сейчас меньше, не часто, в Лефортовском парке или Нескучном саду, чтобы чуть-чуть размяться, обязательно делаю растяжку... Иногда бывают такие периоды, когда я чувствую, что лучше всего засесть за работу прямо с утра и написать одну или две страницы. А порой тянет ночью трудиться, ведь днем столько суеты...

— *Вас Америка сделала таким физкультурником?*

— Нет, я увлекся спортом гораздо раньше и приехал туда уже готовым джоггером.

Америка сделала меня... интеллектуалом. Именно там я стал много читать по-английски, да и по-русски тоже: и романы, и критику. До Америки я был богемщиком.

А в США я прожил 24 года и преподавал литературу в университете Джорджа Мейсена под Вашингтоном. Должен сказать, я благодарю небо, что попал в американский университет. Во-первых, я мог неплохо зарабатывать, а во-вторых, я оказался в прекрасном обществе. У меня была мастерская, куда приходили молодые ребята,

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

изучающие литературу, в том числе и русскую. Они что-то сами писали, а потом мы разбирали всякие темы. Были среди них и такие, кто уже успел пробиться, их печатали. Я им рассказывал про теорию романа, про ОПОЯЗ, про теорию остраниения и замедления Шкловского — им же ничего этого не преподают! Они понимают, как это важно, что нужно «хватать» и начинают «хватать»! Хотя, с другой стороны, в Америке уже давно изучают Бахтина — «раблезианские» вещи и книгу о Достоевском. Они гораздо раньше нас стали его печатать и объявили гением. У американских студентов я вижу один существенный недостаток: когда они работают над романом, они в первую очередь думают о том, как продать свою задумку киноагентам. Вот за это я их всегда ругал. Я обожаю американские университеты, это просто Парфенон. И так же сильно я ненавижу американский книжный бизнес.

— В Америке Вы ощущали себя знаменитостью?

— Как ни странно, я всегда чувствовал, что все меня знают — и издатели, и многие писате-

ли. Но в то же время я никогда не мог сделать там бестселлера, но я и не старался. В Америке меня издавали не из соображений больших денег, а из соображений престижа. Но до поры до времени... Я печатался в одном из самых известных издательств — в Random House. Но их купил немецкий издательский дом Bertelsmann, с потрохами купил, как говорится. Я тогда спросил своего издателя: «Это конец?», но он меня уверял, что ничего не изменится в наших отношениях, что это всего лишь финансовая перестройка. Но со временем новые управленцы выгнали всех писателей вроде меня — анархических, которые не хотели подделываться под коммерческие интересы. Я очень был зол и сказал: «Да пошли вы все! Я из России уехал, чтобы спасти свои романы!» Мы порвали отношения, и я уехал из Америки.

— *Не жалеете?*

— Нет, у меня сейчас в России все издают. Нет никакой цензуры, а там — жесткая коммерческая цензура. Я стал писать больше романов — в последние годы у меня вышло пять

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

новых произведений. Вот сейчас сажусь за очередной. Хочу написать свой «Амаркорд» — о детстве, о войне, о том, как мы умирали с голоду. Я считаю, что от голодной смерти в войну нас спас только ленд-лиз. И хотя пока у меня нет точно выстроенной композиции, я уже знаю, что действие будет разворачиваться в 40-е годы и будет карнавальная среда, как у Феллини.

— *Современная литература вас интересует?*

— Молодость моего поколения совпала с «оттепелью», нам повезло. Мы ощущали поэтическую лихорадку, массу вдохновения, движение, ренессанс. А сейчас ничего такого, как ни странно, я не наблюдаю. Нынешнее поколение само себя сует носом в дерьмо. В начале 50-х мы говорили друг другу: «Старик — ты гений!» А сейчас они, наоборот, копают друг под друга. Однако фаза чернухи оказалась не волнующим этапом. Этот период уже закончился, а другой так и не пришел.

— *Но вы следите за литературным процессом?*

— Два с половиной года назад я был председателем жюри Русского Буккера и за год прочитал 68 романов. Были там интересные работы, которые я не мог протащить через жюри. Мне казалось, что это прямо-таки заговор против меня. Жюри было косное, их невозможно было ни в чем переубедить. С нахальными улыбками, глядя на меня, они как бы говорили: «А вот ему-то мы не дадим премию. Мы его задвинем». Да и жюри из пяти человек — это неправильно, очень мало. Так что мне не понравился роман, которому дали Буккера. Единственное, за что я благодарен, — я много прочел, так что представляю, как и о чем сегодня пишут.

— *А свое творчество вы критически оцениваете?*

— Мои нынешние вещи лучше, чем те, что написаны в молодые годы. «Звездный билет», «Коллеги» — безумно наивные произведения. «Ожог» — первая настоящая суровая проза с суровыми стихами. Сам я люблю «Новый сладостный стиль», но это не значит, что оно лучшее. Бывает, возьму его с полки и с удовольствием

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

перечитываю. А вот «Коллеги» не могу, меня прямо воротит... Хотя и там было что-то хорошее: характеры героев, время чуть-чуть просвечивает...

*— Довольны ли вы экранизацией своих произведений?*

— Сериал «Московская сага», честно говоря, разочаровал. В нем не использован весь потенциал романа, и сериал не стал хитом. Была масса попыток экранизировать «Остров Крым», но так и не случилось пока. Недавно мне звонил Василий Ливанов (один из исполнителей главной роли в фильме «Коллеги»). Сказал, что его заваливают письмами зрители — хотят сиквел фильма «Коллеги». Я ему ответил: «Пишите, а уж потом я пройду рукой мастера!»

*— Вы испытываете ностальгию по советским временам? По 60-м?*

— Как ни странно, советская попса, песенки вызывают ностальгию, но все это не стоит того омерзительного, что было в те времена. Нас

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

повсеместно давила цензура. Это неприятное ощущение прищуренных свинских глазок, которые за тобой наблюдают.

— *В этом году вы отпраздновали юбилей. Вы ощущаете свой возраст?*

— Да, 75 лет. Ни убавишь ни прибавишь. Ничего хорошего в этом нет.

— *Почему? А говорят, мудрость...*

— Мудрости нет. Вообще, чепуха это все — юбилей. Все так банально. Мне еще повезло: я ускользнул от этого, был во Франции, а вот мой друг Войнович нет. У него тоже юбилей в этом году. Непристойные толпы народу. Концерт какой-то чудовищный. Кто его делал? С одной стороны, юбилей, а с другой — коммерческая акция второго канала.

— *А вы как отпраздновали?*

— В Биаррице, узким кругом. Мы сидели на террасе и пили шампанское. Вот и все. Нас всего



Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

было 5 человек — я, жена, наши русские друзья,  
мой ассистент. Ах да! Еще пес, Пушкин.

— *Как это, Пушкин?!*

— Когда жена увидела его на Арбате, он был такой маленький, голенький и с бакенбардами. Она воскликнула: «Пушкин!» У нее от великого поэта, видимо, такое впечатление — голый и с бакенбардами. Пушкин у нас тибетский спаниель. Кстати, довольно редкая порода.

— *А как вы попали в Биарриц?*

— Совершенно случайно. Еще живя в Америке, я стал думать, что надо уходить на пенсию, а оставшееся время потратить на литературу. В 1999 году меня пригласили в качестве почетного гостя в Тулузу на русско-французский фестиваль «Волга–Гаронна». Завершив там все дела, решил отдохнуть у моря, взял машину и направился в Биарриц. Так как надоело ездить в Ниццу. Та неделя выдалась на удивление прекрасной — погода стояла чудесная, солнце, серфинг.

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

— *А вы еще и серфингом занимаетесь?*

— Да, это не так трудно, главное — далеко не заплывать! А в Биаррице сразу угадывается, что ты раньше читал об этом месте. О Набокове, который провел здесь свое «золотое детство», о Чехове, который тоже жил в Биаррице и раздражался на шум океана. О Стравинском. В начале XX века в Биаррице приезжали аристократы — богатые и знатные. Это было модное место. Весной из Петербурга и Москвы они ехали на поезде в Биарриц. После революции и Гражданской войны, уже потеряв свое богатство, они снова поехали сюда. Так в Биаррице появилась своя коммуна аристократов. Здесь жил князь Юсупов, некоторые наследники престола. Я уже не застал этого времени. Хотя и сейчас в Биаррице живут некоторые из «бывших», они, правда, забыли русский язык. Есть и православный храм — собор Святого Александра Невского, где идут службы, но прихожан очень мало. Эти места называют Серебряным побережьем — Cote d'Argent, по контрасту с Ниццей, которую называют, соответственно, «золотым». Если отдыхать, то в Биаррице от скуки подохнешь. Но я-то приезжаю

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

работать. Устаю от Москвы, мне хочется первое время надышаться воздухом, спать на террасе, высовывая только нос... Потом приступаю к работе. И все равно надоедает, и тогда хочется скорее в Москву, понимаешь, насколько в Москве интереснее. В Биаррице мы живем в небольшом доме с садом, в шестистах метрах от моря.

— *Выращиваете что-нибудь в саду?*

— Там само собой выращивается. Когда несколько лет назад ко мне приезжало НТВ с программой Павла Лобкова, то он привез хилый росток пальмы, посадил. Я думал, загнетса, а она все растет и растет, уже почти четыре метра. Красивая!

— *Когда в Биарриц лучше ездить — зимой или летом?*

— Лучше всего, наверное, смотаться на месяц во время нескончаемой московской зимы. Хотя в Биаррице все вымирает: пустые улицы, закрыты почти все рестораны. Правда серферы еще есть — они купаются в своих гидрокостюмах.

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

Что я говорю? Они же работают там. Я их так и называю «труженики моря». Даже из соседей почти никто не остается на зиму. Настоящая пустыня! Зато до границы с Испанией недалеко, всего 15 километров, а там огромный город Сан-Себастьян. Туда тоже мы часто ездим.

— На кинофестивали?

— Да. К тому же там проводится джазовый фестиваль — первый джазовый фестиваль в Европе. Но атмосфера в городе немного тревожная, это же центр подпольного баскского движения.

— Раз зашел разговор о джазе, не могу не спросить про фестиваль «Аксенов-фест», который прошел в Казани 2 и 3 октября. Расскажите поподробнее.

— Эта идея принадлежала не мне. Мои друзья Михаил Генделев и Андрей Макаревич случайно оказались в Казани. Там сейчас идет такой бум, расцвет. Зашел разговор обо мне, я ведь родился в Казани. И вот у мэра,

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

молодого такого парня, появилась идея мини-фестиваля — литературно-музыкального. Ведь Казань еще в сталинские годы была оазисом джаза, так как именно в Казани обосновался биг-бэнд Олега Лундстрема. Они, бывшие шанхайские эмигранты, вернувшись на Родину в 1947 году, хотели осесть в Москве или Санкт-Петербурге, но их выслали в Казань. Они играли и в кабаках, и в кинотеатрах. Их расформировали как коллектив, но они иногда собирались вместе. Это был самый настоящий американский оркестр, который играл настоящий американский джаз! В 50-е годы были у них и подражатели «малые шанхайцы», а мы, молодые, ходили на танцы, где они как раз и играли. А после смерти Сталина биг-бэнд воссоединился опять.

В те времена классика джаза доходила до нас абсолютно свободным образом. Совсем не как в Москве и Санкт-Петербурге, где джаз был под запретом. Столичные жители этому очень удивлялись: «Что у вас тут творится?! Это же невероятно!» На фестивале «Аксенов-фест» я читал свои стихи под джаз. У меня недавно вышел поэтический сборник «Край недоступных

Отцы по домам,  
или Звездный билет, но куда?

Фудзиям». Издательство «Вагриус» предложило собрать стихи из всех моих романов. Это, конечно, не настоящие стихи.

— *Почему не настоящие?*

— Настоящие стихи пишут только поэты, которые физически не могут не писать стихов. Вот Михаил Генделев — он настоящий поэт. Боятся, что его побить могут за стихи, а все равно пишет. У меня нет такой потребности. Но иногда в романе мне хочется создать другую реальность, гипертекст, при помощи оригинальных рифм. Тогда открываются новые горизонты.

— *А почему название такое японское?*

— А это строчка из одного стихотворения, посвященного дикой индейке. Одно время, когда я работал, ко мне рано утром на газон перед домом прилетала дикая индейка. Я сочинил стихотворение, в котором восхищался ею. И там были такие строки: «Но если кто-то заалкает ее на блюде, слева ямс, она тот час же улетает в край недоступных Фудзиямс».

*Литературно-художественное издание*

Василий Павлович Аксенов

«КВАКАЕМ, КВАКАЕМ...»

Главный редактор *Владимир Вестерман*

Редактор-составитель *Виктор Есипов*

Редактор *Кирилл Винокуров*

Компьютерная верстка *Виктория Челядинова*

Вклейка *Александр Щукин*

Корректор *Надежда Александрова*

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

ООО «Издательство АСТ»  
170002, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 27/32  
Наши электронные адреса:  
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство Зебра Е»  
121069, Москва, Скатерный пер, д. 28  
Тел. (495) 202-38-88  
e-mail: zebrae@rambler.ru

Отпечатано  
в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат».  
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.  
[www.sarpk.ru](http://www.sarpk.ru)

RU

891.709 AK7

Aksenov, Vasilii Pavlovich,  
1932-

Kvakaem, kvakaem-- :

Central World Lang CIRC -

1st fl

07/08



# ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

iwlcw

интервью

ISBN 978-5-17-049372-2



9 785170 493722

Ква-  
каем,  
Ква-  
каем. ● ● ●

Молодость моего поколения совпала с оттепелью, нам повезло. Мы ощущали поэтическую лихорадку, массу вдохновения, движение, ренессанс. А сейчас ничего такого, как ни странно, я не наблюдаю. Нынешнее поколение само себя сует носом в дерьмо. В начале 50-х мы говорили друг другу: «Старик – ты гений!». А сейчас они, наоборот, копают друг под друга. Однако фаза чернухи оказалась не волнующим этапом. Этот период уже закончился, а другой так и не пришел.